

На солнечной стороне улицы

Автор:

Дина Рубина

На солнечной стороне улицы

Дина Ильинична Рубина

Новый роман Дины Рубиной – новость во всех смыслах этого слова: неожиданный виртуозный кульбит «под куполом литературы», абсолютное преобразование стиля писателя, его привычной интонации и круга тем. Причудливы судьбы героев романа, в «высоковольтном» сюжете переплелись любовь и преступления, талант и страсть, способная уничтожить личность или вознести к вершинам творчества. Откройте этот роман и вас не отпустит поистине вавилонское столпотворение типов: городские безумцы и алкаши, русские дворяне, ссыльные и отбывшие срок ээки, «белые колонизаторы» и «охотники за гашишем»...

Дина Ильинична Рубина

На солнечной стороне улицы

Часть первая

...для любого сколько-нибудь тревожного человека родной город... – нечто очень неродное, место воспоминаний, печали, мелочности, стыда, соблазна, напрасной

растраты сил.

Франц Кафка. Письма к фройляйн Минце Э.

Не помню названия улиц. Впрочем, их все равно переименовали. И не люблю, никогда не любила глинобитных этих заборов, саманных переулков Старого города, ханского великолепия новых мраморных дворцов, имперского размаха проспектов. Моя юность проплутала этими переулками, просвистела этими проспектами и – сгинула.

Иногда во сне, оказавшись на смутно знакомом перекрестке и тоскливо догадываясь о местонахождении, я тщетно пытаюсь припомнить дорогу к рынку, где ждет меня спасение от позора.

Я не помню лиц соучеников, и когда на моем выступлении в Сан-Франциско или Ганновере ко мне подходит некто незнакомый и, улыбаясь слишком ровной, слишком белозубой улыбкой, говорит: «Вспомни-ка школу Успенского», – я не помню, не помню, не помню!

...Тогда почему все чаще, возвращаясь из Хайфы или Ашкелона домой, поднимаясь в свой иерусалимский автобус и рассеянно вручая водителю мятую двадцатку, я глухо говорю:

– ...В Ташкент?...

1

Из долгой, с ветерком, гастроли мать нагрянула неожиданно и, вызвав у соседей про измену отчима, пошла резать его кухонным ножом. Нанесла три глубокие раны – убивать так убивать! – и села в тюрьму на пять лет...

Вера в тот день как раз читала «Царя Эдипа». Распластанная книжка так и осталась валяться на кухонном столе дерматиновым хребтом вверх, словно силась подняться с карачек... Так что все оказалось по теме. Хотя убийства

настоящего и не вышло. Дядя Миша, отчим, долго валялся по больницам, но окончательно не выправился, – подволакивал ногу, клонился влево, подпирая себя палкой. Кашлял в кулак...

«Догнива-а-ает», – говорила мать, убийца окаянная.

Сама же отсчитала весь срок до копейки, и когда вернулась, Вере уже исполнилось двадцать.

Вот вам конспект событий...

Если же рассказывать толково и подробно... то эту жизнь надо со всех сторон копать: и с начала, и с конца, и посерединке. А если копать с усердием, такое выкопаешь, что не обрадуешься. Ведь любая судьба к посторонним людям – чем повернута? Конспектом. Оглавлением... В иную заглянешь и отшатнешься испуганно: кому охота лезть голыми руками в электрическую проводку этой высоковольтной жизни

* * *

Вернулась она тихо: позвонила в дверь двумя неуверенными звонками и, когда Вера открыла, прослезилась и обмахнула щеки дочери такими же неуверенными поцелуями. И то и другое было ей несвойственно.

«Присмирела, что ли, на казенной баланде?» – подумала Вера.

Мать прошла отчего-то не в комнату, а в кухню; Сократус – холеный барин, эстет, платиновые бакенбарды – следовал за ней тревожной трусцой, морщась от ужасного запаха тюремной юдоли.

Мать опустилась на табурет, медленно стянула с головы косынку (поседела, фурия, – отметила Вера) и мягко, со слезой в голосе, вздохнула:

– Ну вот, вернулась к тебе твоя мамочка...

Привалившись острым плечом к дверному косяку, Вера молча наблюдала за нею. Только после ее слов, вернее после этого красивого обнажения поседевшей головы, она поняла, что играется сцена «Возвращение мамочки», и мысленно усмехнулась.

Мать, между тем, оглядела кухню уже другим, своим прихватывающим взглядом, поддала носком стоптанной босоножки обломок угольного карандаша на полу:

– Все малюешь... Я в твои годы горбила всюю.

– А, здравствуй, мама! – словно узнав ее наконец, воскликнула дочь. И согнала с губ улыбку. – В мои годы ты всю спекулировала.

Та подняла на нее светлые рысьи глаза: видали верзилу? – стоит, жердь тощая, старая майка краской заляпана, взгляд угрюмый, насмешливый... Выросла. Самостоятельная!

Они глядели друг на друга и понимали, что жить им теперь, обоим, бешеным, в этой вот квартире. Нос к носу...

* * *

Я, пожалуй, встряну здесь ненадолго. Собою их не заслону, хотя я и автор, вернее – одно из второстепенных лиц на задах массовки. Я и в хоре пела всегда в альтях, во втором ряду. Вы помните, конечно, эти немолчные хоры на районных конкурсах школьных коллективов? Если нет, я напому:

Выстроились на сцене двумя длинными рядами. Одежда парадная: белый верх – черный низ, зажеванные уголки красных галстуков с утра тщательно отпарены плюющим утюгом...

Второй ряд стоит на длинных скамьях из спортзала, не шевелясь и не дыша, потому что однажды, из-за подломившейся ножки скамьи, все дружно и косо, как домино из коробки, повалились на деревянный пол сцены.

Подравняться!!! Носки туфель чуть расставлены... Смотреть на палочку!!!
Набрали в грудь побольше потной духоты зала, и!..

Вот хоровичка поднимает руки, словно готовясь долбануть локтями кого-то невидимого по обеим сторонам. Дирижерская палочка подрагивает и ждет. За роялем Клара Нухимовна: белое жабо крахмальной блузки, слезящийся нос, жировой горбик на шее... В черном зеркале поднятой крышки рояля подбитой голубкой трепещет отражение ее комканного кружевного платка.

И вот – бурный апрельский разлив вступления!

Взмах из затакта: повели медленно и раздумчиво...

Ветви оделись листвою весенней...

И птицы запели и травы взошли,

Весною весь мир отмечает рождение...

звук нарастает, жилы на шее хоровички натягиваются...

Великого сы-ы-на... Вели-кой земли-и-и-и...

И поехали с орехами:

Лееееееенин...

Это мы, альты и вторые сопрано, еще затаенно; и вдруг – восторженный вскрик первых сопрано:

– Ленин!!! Это весны...

Первые сопрано, заполошно перебивая:

– Это весны цветенье!!! Ле-ееееенин... Ленин!!!

Дружное ликование в терцию:

– Это побеееееды клиииич!

– Славь-ся в века-а-ах...

Совместное бурлацкое вытягивание баржи:

– Лееееееенин! Наш...

Вторые сопрано и альты, борясь за подлинную истовость:

– Наш дорогой Ильич!!!

И пошел, пошел, ребятки, финал – наш великий исход, исступление, искупление, камлание, сладострастие тотального мажора безумных весталок:

– Ле-ни-ну – слааааааааааааааа-ва!!!

Пар-ти-и слааааааааааааааа-ва!!!

Сла-ва в векаааааааааааааааааааа-ах!!!

...и вот теперь... подкрадываясь с пианиссимо, раскручивая птицу-тройку до самозабвенного восторга, по пути прихватив мощное сопрано нашей хоровички, налившейся свекольным соком, стремительно хлынувшим на лоб ее, щеки и монументальную грудь!!!

Слааааааааааааааааааааааааааа-а-ва!!!

Обвал дыхания в беспмятство тишины.

Яростный гром аплодисментов под управлением жюри.

* * *

С неделю было тихо. Мать не трогала Веру, присматривалась. Правда, в первый же вечер в отсутствие дочери сгребла все холсты, подрамники, кисти и коробки

с сангиной и мелом и свалила на пол в маленькой восьмиметровой комнате, где Вера обычно спала.

Большую же, пропахшую скипидаром, лаком и краской, – дочь считала ее мастерской и на этом основании превратила в свинарник, даже доски для подрамников в ней строгала, – мать отмыла, проветрила, постирала и повесила на окна старые занавески, пять лет валявшиеся в углу на стуле (света ей, дылде, видите ли, не хватало!), и для порядку прибила на дверь небольшую такую задвижку, не засов какой-нибудь амбарный, – все-таки с дочерью жить, не с чужим человеком.

Вера, увидев это, ничего не сказала: в самом деле, нужно же и матери где-то жить. Жаль было только постановку для натюрморта, мать разобрала ее. Окаменелые от давности гранаты выбросила, а медный, благородно темный кумган обтерла от пыли тряпкой, служившей в постановке вишневым фоном, и переставила на подоконник.

«Ах ты, корова старая, – подумала дочь беззлобно, – я неделю ждала, пока он пылью покроется, чтоб не слишком блестел...»

Вообще Вера была настроена миролюбиво, мрачно-миролюбиво. Вечерами сидела в своей комнате и часами рисовала автопортреты, поминутно вскидывая глаза на свое отражение в остром осколке когда-то большого и прекрасного зеркала. Иногда раздевалась до пояса (натурщицы были не по ее студенческому карману) и таким же сосредоточенно-цепким взглядом, словно чужую, вымеряла себя в зеркале: прямые плечи, робкую, как у подростка, грудь, втянутый живот...

В первые дни мать, все еще играя роль «вернувшейся мамочки», пробовала беседовать по душам, то есть совала нос не в свои дела, давала идиотские советы или принималась вдруг рассказывать душещипательные тюремные истории. Но нарвалась несколько раз на едкие замечания дочери и отступилась.

Дочь не пускала в свою странную, но, видимо, устоявшуюся жизнь. Ну, и маячил между ними еще живым укором этот недобиток, который и получил свое, на что напрашивался...

У Веры как раз тогда заканчивался период длительного увлечения хатха-йогой; по утрам она уже не стояла на голове и не тратила полтора часа на позы с тех пор, как умножила эти полтора часа на семь (неделя), а потом на тридцать (месяц), и прикинула – сколько времени поглотило у нее бессмертное учение.

Рассудив, что полтора месяца – довольно жирный кусок от ее, безусловно, смертной жизни, утренние занятия самосовершенствованием она прекратила, но все еще была убеждена, что, закрыв глаза и вызвав в воображении круг зеленого цвета, можно сосредоточиться и усилием воли погасить любые нежелательные эмоции – например, ярость при виде задвижки на двери, которую приколотила эта старая тюремная комедиантка.

С тех пор, как мать вернулась, зеленый круг приходилось вызывать в воображении довольно часто, и у Веры появилось опасение, что вся ее жизнь теперь может пойти сплошными зелеными кругами: мать устроилась уборщицей в очередной стрейтс и понемногу набирала обороты: купила себе венгерские кроссовки, завилась и стала красить губы.

Вера насторожилась, как насторожился бы житель горной деревушки, заметив, что над давно погасшим вулканом вновь курится дымок.

И вправду, дней через пять, вечером мать ввалилась разгоряченная, деятельная. Распахнула пошире входную дверь: за нею, тяжело топая, поднимались по лестнице двое мужчин с ящиками на плечах.

– Рахимчик, сюда... Рахимчик, легче давай... – командовала мать. – Колюнь, ложь эту хреновину вот здесь... Осторожней, не побей!.. Та-а-ак...

Вера вышла из своей комнаты и молча смотрела на озабоченную беготню. Колюня и Рахимчик сбегали еще по два раза вниз, внесли шесть банок импортной краски...

– Рахимчик, ну что, – все там? Дай вам бог здоровья, ребятки, подмогли. Получайть! – мать, как разгулявшийся купец в кабаке, с размаху вмяла в Колину ладонь трешку.

– Ка-ать... – с жалостливым укором протянул Коля, – натаскались же...

– Ка-а-люня! – мать изумленно-ласково подняла брови. – А бог где? – и похлопала ладонью по молодой его, напористой груди. – Вот где бог-то! В нас-то он и есть...

Вера хмыкнула и даже вперед подалась, чтобы не прозевать Колюнину реакцию на божественный довод. С богом – это новенькая была хохма, может, в тюрьге у кого переняла. Но Коля, несмотря на молодой возраст и, вероятно, вполне атеистический взгляд на мир, смутился и как-то потускнел. Бедняга просто не знал, что из матери невозможно вышибить лишней копейки, а то бы и вопроса такого нелепого не стал поднимать.

Когда парни ушли, Вера осмотрела ящики. В них была чешская кафельная плитка. Предположить, что мать решила ремонтировать квартиру, Вера никак не могла. Выходит, взялась за старое, коммерсантка чертова.

– По нарам соскучилась? – спросила ее Вера.

Мать оскорбилась не на слова дочери, а на тон – спокойный. Бесило ее это спокойствие.

– Заткнись, акварель чокнутая!

– Ну, сядешь...

Мать прищурилась азартно:

– Эт кто меня посадит, ты что ль?

– Я!

Вера ответила так неожиданно для себя и вдруг поняла, что может посадить. Стоило бы, во всяком случае. Чтобы не одуреть от зеленых кругов перед мысленным взором.

Мать задохнулась от ярости:

– Ты?! Ты?! Ты меня посадишь, помазилка драная?! – И присовокупила длинно. И еще присовокупила.

– Ну, эту поэзию мы слышали, – невозмутимо ответила Вера, повернулась и пошла к себе в комнату. Но не успела закрыть за собою дверь – мать подскочила и кулаком сильно ударила дочь по спине, между лопаток.

Вера в драку не кинулась, сдержала себя, хотя волна горячей крови долго еще гулким прибоем омывала сердце. И никаких кругов в воображении она вызывать не стала.

Отчеканила только с тихим, леденящим душу бешенством:

– Еще разок лапу на меня поднимешь – горько раскаешься...

* * *

И началось... Не жизнь, а война двух миров.

Сначала явился участковый – строгий белобрысый молодой человек немногим старше Веры. Проверил документы и предложил ознакомиться с заявлением. Вера без особого интереса пробежала глазами безграмотные строчки, написанные знакомой деятельной рукой, и расстроилась: мать вышла на военную тропу. В заявлении сообщалось, что гражданка Щеглова В. из 15-й квартиры, особа без определенных занятий, тунеядка склочного характера и аморального поведения, третирует весь дом постоянными дебошами, пьянством и сквернословием. Поэтому от всех жильцов большая просьба до работников милиции: будьте добреньки выселить гражданку Щеглову В. из квартиры, где она регулярно измывается над матерью с подорванным здоровьем. Подписана бумажка была: «группа соседей не откажуца подтвердить». Далее стоял энергичный и невнятный росчерк материной подписи и приписка: «и зогатила всю квартиру».

Вера аккуратно сложила листок вдвое, вернула его белобрысому участковому и сказала:

– Заходи, компотом угощу, абрикосовым.

Участковый нахмурился и вошел. Вера налила ему в большую кружку компоту и отрезала кусок пирога с яйцом и луком. Ей слишком часто приходилось сидеть на диете, особенно в те месяцы, когда почти на всю зарплату закупала в художественном салоне материал – холст, бумагу, подрамники, лак... Так что, если вдруг заводилась свободная десятка и накатывало столь редкое у нее кулинарное вдохновение, Вера уж не жалела часа полтора потоптаться у плиты, чтобы затем в дивном одиночестве провести вечер наслаждений – за книгой, смакуя по кусочкам отбивную, зажаренную с луком и картофелем, отпивая медленными глотками кофе, сваренный ею по-настоящему, как Стасик научил – с пенкой, подошедшей дважды...

– Что ж вы с соседями не ладите? – строго спросил участковый.

Вероятно, строгостью хотел уравновесить либерально-попустительское питье компота у проверяемой гражданки.

– Соседи у меня хорошие, – ответила Вера. – А бумажку моя мать писала.

Парень сильно удивился – видать, недавно приступил к обязанностям участкового, а может, просто рос в приличной семье. Даже перестал жевать. Снял фуражку, вытер платком потную красную полосу на лбу:

– Ну, дела-а-а... Чего это она?

– Такой характер лютый, – объяснила Вера... – Да ты не расстраивайся! Давай я твой портрет нарисую? Вон у тебя какое лицо... надбровные дуги какие, мощно вылепленные...

Участковый смущенно потрогал свои надбровные дуги, которые расхвалила гражданка Щеглова В., отодвинул пустую кружку и сказал:

– Да нет, в другой раз. Спасибо.

Он осмотрел квартиру, зашел в Верину комнату, внимательно оглядел расставленные вдоль стен холсты на подрамниках, большие картонные папки, коробки с пастелью и сангиной... пяточок свободного места с мольбертом у окна и топчан, занимающий чуть не треть комнаты...

– Да-а-а... Тесно тебе здесь... Помолчал и добавил:

– Говорят – искусство, искусство! Работники искусства... А я гляжу – не очень-то у тебя чистая работа...

– Ну, у тебя – тоже... – усмехнулась Вера. Уже на пороге он сказал озабоченно:

– Хорошо, что я по соседям сперва не двинулся. Может, вызвать ее в оперпункт, прижучить маленько?

– Не надо, сама справлюсь. И объяснила насмешливо:

– Это из нее талант прет, понимаешь? Она талантливая, только образования нет, и жизнь была тяжелая – война, блокада... родные поумирали все... Если б ее вовремя образовать, вышла бы птица большого полета. Может, министр финансов, может, гениальная актриса...

Вечером она сказала матери:

– Значит, вот так: судиться и сволочиться с тобой я не буду. На это нужны время и вдохновение, а мне все это пригодится для другого дела... Не хочешь жить нормально – давай размениваться.

– Еще чего! – мать возбужденно улыбалась. – Я не для того квартиру зарабатывала, чтоб по ветру ее размотать!

О том, как она зарабатывала эту квартиру, до сих пор ходили легенды в жилищном отделе горсовета. И долго еще после происшествия кто-нибудь из чиновников посреди совещания оборачивался к другому, прицокивал языком, подмигивал, говорил шепотом:

– Адыл Нигматович, я как вспомню: ка-акая же-енщи-на, а? Грудь-то видали, прям антоновка, золотой налив!.. Как думаете, она вправду с четвертого этажа сиганула бы?

– Э-э-э! – морщился Адыл Нигматович, – глуп-сти! Тот дженчина просто бандитка некультурный, больше ничего. Какой воспитаний у него, а? Вишел голий на балкон, дочка на перил садил... Кричал – сам прыгну, дочка ронять буду!.. Гришя, подумай сам – зачем горсовет такой скандал! Пусть уже сидит в тот квартир, самашедчий дженчина!

– Ты у меня отсюда бесплатно вылетишь, вместе с картинками, ветер в ушах запоеет!

«Портрет бы с тебя, стервы, писать, – подумала Вера. – Уж больно живописна в яркой косыночке на рыжей завивке, в оранжевой этой кофте... Посадить у окна, чтобы свет – слева, а фон приглушенный, пожалуй, серовато-синий... Тогда лицо приобретет сияющий зеленоватый оттенок, дополнительный к красному, яркому... Та-ак... Свет от окна освещенную часть лица сделает холоднее, чем затемненную... а на той будет рефлекс от теплых оттенков обоев... Хм... так-так... аккорды зеленого и красного повторить в одежде... да... и более глухими отголосками на спинке стула... и тогда среда наполнится энергией двух этих цветов, из которых возникнет живописная ткань портрета...»

Ну, чего не жить как люди?

Вслух она сказала:

– Ну, смотри, не обижайся... Мать театрально захохотала.

2

Из большой и горластой семьи Щегловых – одних детей было трое, да мать с отцом, да тетя Наташа с сыном Володей, и все жили дружно и суматошно в двух комнатах в коммуналке на Васильевском острове, Четвертая линия; – так вот, из всех Щегловых в живых после блокады остались восьмилетняя Катя и брат Саша.

В армию Сашу не взяли из-за эпилепсии.

Их эвакуировали в Ташкент... И здесь Сашу и умирающую Катю взяла к себе на балхану узбечка Хадича.

* * *

«– Да нет, милая вы моя, все не так скоро делалось! И вообще, делалось-то как бы и не людьми, а безумной воронкой эпохи, которая всасывала всех нас в какую-то гигантскую утробу оцепенелого ужаса, голода и хаоса войны...

Вы извините, что я так сразу, и сразу – с критикой. Вы сказали, что собираете воспоминания бывших ташкентцев, как вы выразились – «голоса унесенных ветром» – ну, и я обрадовался. И хотя в Ташкенте я был только в детстве, в эвакуации, а потом вернулся в Саратов, я все же считаю себя вправе тоже «подать голос». Так что вот, посылаю запись...

...Я-то помню кое-что из того времени, хотя был совсем пацаном... – так, картинки отдельные. Представьте, что на некий азиатский город сваливается миллион вшивого, беглого оборванного люда... На вокзал прибывают эшелоны за эшелонами, город уже не принимает. И это разносится по вагонам, люди передают друг другу: «Город не принимает... не принимает... не дают прописку».

И все-таки горемычные толпы вываливались из поездов и оставались на привокзальной площади, расстилали одеяла на земле и садились, рассаживались целыми семьями в пыли под солнцем. Ступить уже было негде, приходилось высматривать – куда ногу поставить... А прибывали все новые, новые оборванцы... бродили по площади, встречали знакомых, спрашивали друг друга: «Вы сколько сидите?» Узнавали новости о близких, приходили в отчаяние... И все-таки сидели...

И мы с мамой сидели, изо дня в день... потому что ехать дальше – означало гибель, а в Ташкенте выживали, цеплялись за какую-то работу, жизнь вытягивала соломинкой надежды.

Помню, на этой, залитой солнцем и застланной одеялами, площади лежала женщина в беспамятстве. У нее было сухое, обтянутое кожей лицо и губы, иссеченные глубокими кровавыми трещинами. Кто-то сжалился и смазал эти

кровоточащие трещины постным маслом, и вдруг она, не открывая глаз, судорожно принялась слизывать масло с губ...

... А вот еще картинка: мы с мамой идем по улице, над головой – сплошная зеленая крона с узорными прорехами ослепительного солнца, у мамы в руке наш единственный фанерный чемодан... а вокруг на гремящих самокатах разъезжают мальчишки и кричат: «Жидовка, скажи „кукуруза!“»... Я держу маму крепко за руку и, конечно, верю в ее силу... но все-таки немного страшно... На вокзале можно было взять носильщика – дюжего мужика, – он обвязывался ремнями-веревками и пешком тащил чемоданы по адресу, какой скажут... просто шел впереди тебя, сгибаясь под тяжестью баулов и тюков... С носильщиком было бы не так страшно идти по чужому городу... Но у нас ни тюков, ни денег не было, поэтому мама несла чемодан сама, только руки меняла. Останавливалась, говорила мне, тяжело дыша: «Подожди... зайди с другой руки»... и мы шли дальше... А самокаты сужают круги, все теснее кружат на своих гремящих подвизгивающих подшипниках: «Жидовка, скажи „кукуруза!“».

Мама вдруг остановилась и в сердцах крикнула: «Холера тебе в пузо!!!»... И это так понравилось мучителям, что они отстали...

...Рынки, конечно, помню... Алайский рынок, знаменитый... это был какой-то... Вавилон! Вот уж действительно где смешались языки-наречья, пот, слезы, тряпье, тазы, ослы, арбы, люди... А воруя сколько! Вся страна беспризорная, голытьба окаянная сползалась в город хлебный, теплый... Люди говорили: «Самара понаехала!», почему-то считалось, что самарцы – сплошь ворюги... Когда в кинотеатрах стали крутить кино «Багдадский вор», появилась присказка: «Пока смотрел „Багдадский вор“, ташкентский вор бумажник спер»...

Помню, на рынке однажды поймали вора. И кто-то уже стал звать милицию, а один дядька – краснорожий, однорукий, сказал: «Не надо, сами справимся!»

Несколько мужиков сгрудились над пойманным, и только слышно: уханье и – хрясть, хрясть! Так дружно, так остервенело били!.. И только потом я догадался, что били-то его свои и что однорукий краснорожий был, наверное, главарем шайки, а того, пойманного, била вся его шобла, била до полусмерти – таким образом спасая...

Шестьдесят пять лет прошло, а эти картины у меня перед глазами, как вчерашний день... И вообще, сколько за плечами осталось – Саратов, Москва, десятки городов... Вот сейчас и до конца уже – Марбург, а я до сих пор, стоит только закрыть глаза, так ясно представляю себе эту улочку, по которой мы с мамой идем, – высоченные кроны чинар сплетаются над головою в зеленый солнечный тоннель...»

* * *

...Хадича, маленькая проворная женщина, подвязав с утра косынкой седые жидкие косицы, целый день бесшумной юлой крутилась по утопанному, чисто выметенному дворику. А Катя умирала...

Истонченный блокадным голодом желудок отторгал пищу. Девочка лежала на цветастых курпачах, расстеленных на балхане, и молча глядела в теплое узорное небо, сквозившее радужными снопиками сквозь листья чинар. Виноградные лозы оплетали деревянные столбы балханы. Настырный ветерок трепал на плоских крышах алые лепестки маков... Где-то во дворе с курлыкающим ровным звуком день и ночь вдоль дувала катился арык...

Саша сидел рядом, обхватив колени, – сутулый, мосластый, сам донельзя худой, – и тихо плакал: он понимал, что Катя умирает и он остается один из Щегловых, совсем один, в этом бойком южном городе, среди чужих людей. Он никого к Кате не подпускал и все разговаривал с ней, отворачиваясь и отирая слезы рукавом рубашки.

– А потом, Катенька, мы поедem на острова, на лодке кататься. Помнишь, как первого мая, до войны? Нам тогда еще двух лодок оказалось мало, тетя Наташа на берегу осталась... А Володька так перегнулся через борт – за твоим уплывшим шариком, – что мы чуть не перевернулись... помнишь? Я буду грести, а ты вот так сядешь на корме и руку опустишь в воду, а вода ласковая, теплая... Это обязательно будет, Катенька...

Хадича несколько раз поднималась на балхану, смотрела на девочку, качала головою и бормотала что-то по-узбекски. Под вечер, завернув в головной платок сапоги старшего сына, Хикмата, ушла и вернулась через час без сапог, осторожно держа обеими руками поллитровую банку кислого молока.

– Кизимкя, бир пиалушкя катык кушай, – озабоченно приговаривала она, натрахиная в пиалу белую комковатую жижю.

– Оставьте ее... – угрюмо простонал Саша, – все равно вырвет...

И тут лицо тихой Хадичи изменилось: она тонко и гневно закричала что-то по-узбекски, даже замахнулась на Сашу худым коричневым кулачком, сморщенным и похожим на сливу-сухофрукт.

Осторожно подложив ладонь под легкую Катину голову, приподняла ее и поднесла к губам девочки пиалу. Катя потрогала губами прохладную кисловатую массу, похожую на жидкий студень из клея, а еще на довоенный кефир... послушно отхлебнула и потянулась – еще.

Хадича отняла пиалу, покачав головой: нельзя сразу. Весь вечер она просидела возле девочки, разрешая время от времени делать два-три глотка...

На другой день размочила в оставшемся молоке несколько кусочков лепешки и позволила Кате съесть тюрю.

Саша уже не плакал. Он бегал к колонке за водой, раздувал самовар, помогал у тандыра, подметал двор, и бог знает что еще готов был сделать для этой женщины, для ее четверых, тоже хронически голодных, смуглых, точно сушеных, ребятишек.

Двое старших сыновей Хадичи постигали правила русского языка в окопах Второго Украинского фронта, муж давно умер.

Дня через три Катя уже сидела во дворе на большой квадратной супе, свесив слабые тонкие ноги, опираясь спиной о подоткнутые Хадичой подушки, и глядела с тихим удивлением на крикливые игры ее черноглазых детей. Говор ей был непонятен, а игры – понятны все...

С того военного лета этот город, эти узбекские дворики с теплой утоптанной землею, эти сквозистые кроны чинар, погруженные в глубину неба, означали для нее больше, чем просто – жизнь; все это было жизнью подаренной.

«– ...Это вы замечательно решили – писать роман о Ташкенте! Такой город не должен быть забыт... И, знаете, здорово придумано – собирать „голоса“. Каждый такой голос – а нас, бывших ташкентцев, по всему свету разбросано немало, – может вам отдельный роман наговорить, роман своей жизни. И я с удовольствием наговорю, что помню...

Я тут недавно набрел в Интернете на сайт под названием «Алайский»... и там перекличка наших земляков: «Кто учился в мужской средней школе им. Сталина, Хорезмская, 8, – откликнитесь!»... «Кто с Тезиковки, ребята, – отзовитесь!»... Какой-то местный парень берет заказы на фотографии. Ты называешь объект: главпочтамт, например... – помните каменных львов на его угловом, вечно заколоченном парадном? Говорили, что это единственные каменные львы в городе. У меня они ассоциируются с детством, потому что няня разрешала посидеть верхом то на одном, то на другом – они в разные стороны смотрели, словно торчали на шухере... Или, например, консерватория... или памятник в парке Тельмана... Так, значит, этот парень фотографирует за сущие копейки и присылает – все-таки память... Очень удобно! Вот живешь ты у себя в Солт-Лейк-Сити лет эдак тридцать, а снится тебе ночами Шейхантаур, сине-лазурный орнамент на мавзолее шейха Хавенди Тохура... кладбище, мечеть... Площадь, где проходили гуляния на узбекских праздниках, особенно после уразы – религиозного поста. Да, Шейхантаур... это был город в городе, знаете... Такой Багдад: путаный бесконечный лабиринт переулков, тупиков, бесчисленного множества узбекских дворов... А что такое узбекский двор? Это комплекс полного жизнеобеспечения. Сам дом, наверху – балхана... Не знаете? Ну как бы объяснить вам... это балкон – не балкон... не антресоль... а нечто вроде пристройки наверху... так что дом тогда казался двухэтажным... А крыши... они земляными были, поэтому весной на них прорастала трава, трепетали нежным пламенем первые маки под еще свежим ветерком...

По двору протекал арык, над ним строили такой квадратный деревянный помост – айван, или супу... бросали на него множество курпачей – небольших, простеганных вручную, ватных одеял. От них всегда пахло прелым человеческим душком, стирать их не стирали, а вывешивали на солнце – сушили, проветривали... На айване спали, принимали гостей, чаи распивали... От арыка шла прохлада в жаркий день, и звук бегущей воды успокаивал, расслаблял...

Во дворе всегда была пристройка, кухня, и низкая кирпичная, обмазанная глиной, печь – тандыр, в ней пекли лепешки, самсу... Дух горячей узбекской лепешки забыть невозможно, он снится мне здесь, в штате Юта, по ночам... Снится, как молодой узбек палкой поддевает ее, вынимает, – круглую, в подпалинах на бугорках, с обожженными зернышками тмина, а посерединке у нее вдавленный такой, жесткий, хрусткий пяточок, за который можно душу дьяволу продать! И от нее волна горячего запаха... как бы это объяснить... материнского запаха, знаете... вот, слов не хватает!.. Да мир на этом запахе стоит!

А в самих домах были низкие такие, как кофейные столики, печки – не помню принцип, по которому они работали, врать не стану... а только сидел ты на полу, на курпачах, ноги засовывал под этот столик и чувствовал тепло... Было замечательно! А стряпали многие во время войны на чем? На мангалке! Я, знаете, за свою жизнь бывал во многих местах, поездил по командировкам, но нигде больше такой народный агрегат не встречал. Сейчас опишу... Берется старое ведро и из него делается печка. Дырявятся по бокам два отверстия – одно для дров, другое – золу выгребать. Поверху – решетка из толстой проволоки. Чтоб железо не прогорело, изнутри ведро выложено обломками кирпича и обмазано глиной. На мангалках половина Ташкента всю войну варила и кипятила...

Вот что озадачивало у них с непривычки – туалет. Обычная пристройка в углу двора, с дыркой, чтоб сидеть на корточках, а у стенки – ведро, полное круглых глиняных камней. Если у русских в туалетах на гвоздике висели обрывки газет или листки из школьных тетрадей, то у узбеков, вот, камни использовались для этой нужды... Интересно, правда?... Мы, конечно, притаскивали свой материал для такого ответственного дела. Помню, в туалете мне попался лист из какого-то старого журнала, там была напечатана вредная белогвардейская поэма, называлась «Драма русского офицерства», и внизу страницы: «Типография Г.А. Ицкина, въ Ташкента». Взрослые не обращали внимания – чем подтирались, хозяева-узбеки тем более... А я просек что-то необычное, запретное... пацана запретным только помани! Приволок лист домой... И так мне отец за него по ушам навесил!.. Лично сжег на свечке! Да только поздно, поздно... память детская, само все в нее влетает... я уже наизусть много строчек знал, хотя не все. Представляете – даже сейчас начало помню. Там так:

Христось Всеблагій, Всесвятый, Безконечный

Услыши молитву мою.

Услыши меня, о Заступникъ Предвечный.

Пошли мне погибель, въ бою.

На родину нашу намъ нету дороги:

Народъ нашъ на насъ на же воссталъ,

Для насъ онъ воздвигъ погребальныя дроги

И грязью насъ всъхъ закидалъ.

Въ могилахъ глубокихъ безъ счета и меры

Въ своем и враждебныхъ краяхъ

Сномъ вечным уснули бойцы офицеры,

Погибшіе въ славныхъ бояхъ.

Но мало того показалось народу:

И вотъ, чтобъ прибавить могилъ,

Он, нашей же кровью купившій свободу,

Своихъ офицеровъ убилъ.

Ну и так далее, дальше уже не помню... Что за народ? Каких таких своих офицеров он убил? Когда все это стряслось? Взрослых я спрашивать опасался: шла наша собственная война, где героями были и солдаты, и офицеры... И долго мне смысл этой поэмы казался темным...

Да, так, Шейхантаур... там все было свое – парикмахерские, школы, Юридический институт, зубо врачебный кабинет, рынок... Даже кинофабрика – в ней еще немые фильмы снимались! И все жили скопом, как в кучу наваленные... По соседним дворам у нас много лепилось раскулаченных русских, старообрядцев, были татары, армяне, евреи... Во время войны эвакуированные жили даже в мечети, позже она была складом, а с возрождением национальной независимости... но этого я уже не знаю, это уже не при мне...

Ну и чайханы на каждом шагу... Узбекский мужчина без чайханы не может никак – это как для англичанина его клуб. Узбеки сидят в чайхане в чапанах – полосатых и синих ватных халатах, в чалмах, в тюбетейках... и весь день пьют

чай, потеют... – им пот служит вентилятором, а чапан удерживает температуру тела в течение всего дня... Вековые народные традиции – так спасаются от жары... Но еще – и это тоже, никуда не деться, вековые традиции! – из темной глубины помещения всегда потягивает характерным запахом гашиша, по-ихнему – анаши... Восток без дурмана, говорил мой отец, что скупой без кармана.

Лет пять назад приезжал я уже отсюда, из Солт-Лейк-Сити, в Ташкент – взглянуть на свою первую школу... Ничего не узнал! Все перестроили; вместо милых ташкентских особнячков – какие-то циклопические сооружения псевдо-мавританского шика: купола, арки, мраморные гигантские площади под нещадным солнцем... Идешь к такому издали, думаешь – ну, это, наверное... парламент? Величественный, инопланетный, нечеловеческих пропорций... Театр на двадцать тысяч мест? Подходишь ближе, выясняется: какой-нибудь Дом моделей.

А от Шейхантаура, моего Шейхантаура, который я избегал босыми ногами вдоль и поперек, и кругом, и петлями, так что моей «стезей» уличной можно бы, наверное, обернуть экватор... – от Шейхантаура осталась только изразцовая мечеть. Стоит, как ворота в никуда – в город, которого нет больше ни на одной карте...».

3

Нищие старики и старухи стоят у крыльца булочной, что на Каблукова, ждут – иногда какие-то сумасшедшие, отоварив карточки, дают им довески. Но Катя никогда не дает – как можно?! Хлеб?! Разве хлеб можно отдать, хотя бы крошку?! Нет, она торопясь проходит мимо, и, только отойдя шагов на двадцать, достает из пакета довесок и медленно съедает: сначала пережевывает мякоть, не глотая, – тогда слюна проникает во все крошки, наполняет их, пружинистая пористая плотность хлеба набухает, превращаясь там, во рту, во вкуснейшую кашу... Теперь можно постепенно глотать, распределяя кашу языком на части...

Иногда, если день начинается удачно, довесок попадается с мягкой, еще теплой коричневой корочкой. Ее можно с самого начала отгрызть, подержать в кулаке, пока лелеешь во рту мякоть, а потом всю дорогу до дому сосать корочку, пока и она не растворится совсем. Но и тогда еще долго вылавливаешь из-за щеки и

подталкиваешь языком к зубам разбухшие крошки...

Еще Саша на своем авиационном заводе добывает талоны на обед. Обеды выдают в консерваторской столовой, через окошко, во дворе. Надо только приходить со своей кастрюлькой. И Катя приходит, ни разу не пропустила! Она лучше школу пропустит! Чего она в той школе не видела? Все равно мысли только о еде... К окошку выстраивается очередь, но это ничего, постоять можно, только Катя всегда волнуется, что ей не хватит. Первые блюда разливает алюминиевым мятым половником здоровенный мордатый парень с кудрявым чубом через все лицо. Заставить бы его подхватить заколкой, чтоб в половник не попал. Однажды в очереди перед Катей стоял пожилой дядечка с седой бородкой, в шляпе. Он принял у мордатого свою кастрюльку, отошел в сторону и стал выливать мутную жижу на землю. Вернулся к окошку и спрашивает: «Какой у вас выход?» Мордатый что-то буркнул. А тот: «Нет, здесь не будет столько!» – «Да чего ты привязался!» – «А того, что я и сам был поваром и знаю, что к чему!» Повернулся и пошел с пустой кастрюлькой. А чубатый вслед ему нагло и насмешливо пропел: «Сам был поваром и знает, что все повара воруют!»... И вся очередь промолчала, словно люди боялись, что следующему затируха не достанется...

К обеду полагался еще кусочек черного хлеба, его выдавали в буфете, это с главного входа консерватории и направо. Буфетчица обмотана крест-накрест оренбургским платком и точно таким же платком обмотана ее толстая дочь-даун, Катиного возраста. Она все время смотрит на Катю сонными добрыми глазками... Наверное, жрет с утра до вечера, вот и добрая, вот и спать хочется... Этих всех, добрых, Катя ненавидела особенно: если добрая да улыбается, значит, уж точно что-то у меня украла...

Однажды вместо хлеба буфетчица резала пирог с повидлом – такое выпало счастье! Главное, Катя с утра чувствовала, что сегодня случится что-то особенное! Толстая буфетчица резала пирог, взвешивала порции, и короткие ее пальцы лоснились от повидла... Катя продвигалась в очереди, неотрывно смотрела на сладкие эти пальцы с отставленным в сторону мизинцем и лихорадочно думала: «Чего ж она пальцы-то не оближет?! Или дала бы дочери полизать...»

Эх, а вот бывает же счастье: однажды перед школой, как раз когда все высыпали во двор на перемену, опрокинулась двуколка, а вместе с ней и бочка патоки. Бочка лежала на боку, патока вытекала черной густой сладчайшей

кровью, в луже ее топталась лошадь, которую дурак-возница никак не мог выпрячь... В секунду, как рой мух, на лужу налетела малышня, совала пальцы в патоку, облизывала. Кате тогда много досталось – она билась как безумная, раскидала многих... В классе ее даже мальчишки боятся...

У входа в консерваторию тоже слоняются нищие. Они очень надоедливые, хотя не все, – вот на Пушкинской, между домами 39 и 41, всегда сидит инвалид, играет на камышовой дудке одну и ту же бесконечную мелодию – однообразную, очень грустную. Никогда ничего не просит, костыли рядом лежат, на земле. Люди проходят и что-то дают. Но Катя?! – Нет, нет! Тем более никогда ничего она не даст Примусу – чокнутому бородатому деду с палкой. Примус, тот, наоборот, никогда не сидит на месте. Его можно увидеть где угодно – на Шейхантауре Катя тоже встречала его не раз, а однажды видела, как он с проклятьями гонялся за пацанами, которые дразнили его: «Примус, Примус, горелая жопа!», и бросался на них как дикий, чуть Кате не досталось палкой...

Вот кого надо опасаться – это беспризорников. Они воруют карточки, и нет ничего страшнее на свете, чем карточки потерять. Недавно Катя видела женщину, у которой беспризорники вытащили карточки на месяц. А месяц ведь только начался! Та сидела на крыльце булочной и выла, как бешеная собака, и кусала свои руки с такой силой, что по ним уже и кровь лилась. Люди толпились вокруг, жалели, конечно, но чем тут поможешь?... Не будь растяпой...

Нет, все-таки хорошо в Ташкенте, вот уже скоро весна, значит, тепло придет, и – солнце будет все лето! Все лето будет солнце...

* * *

... И долго еще Катя жила с ощущением подаренной жизни, долго; пока на авиационном заводе, где работал Саша, не взорвался паровой котел. Люди всякое говорили, кто-то утверждал, что не сработал изношенный предохранительный клапан. Но больше было таких, кто горел ненавистью к расплодившимся врагам народа; всплыло ходкое в те годы слово «диверсия», делу был дан соответствующий ход, всех, кто в ту ночь дежурил на заводе, и Сашу в том числе, судили, и припаяли большой срок. Но Саша до тех мест, где выпало срок отбывать, не доехал, он умер по дороге от сердечного приступа. Так Кате сказали в окошке, а идти добиваться правды она боялась. Да и куда идти?

В тот год она заканчивала ФЗУ по специальности «швея-мотористка», жила в общежитии и уже не верила в подаренную жизнь, а понимала, что нужно отчаянно драться и много вытерпеть за этот подарок.

– Ну что, Саша, – строго прошептала она колючими сухими губами, – не поедем уже на острова на лодке кататься...

Сделала на руке наколку «Саша» – синей тушью и, чтобы перебить в себе щенячий скулеж тоски, больно укусила свой кулак.

В этот же вечер Катя побила соседку по комнате, шуструю компанейскую хохлушку, – за то, что та потешалась над ее шепелявостью.

* * *

«... – Тебе когда-нибудь снится военный Ташкент, мам?

– Так, иногда... если голодная на ночь лягу... А ты к чему спрашиваешь, я для тебя тоже – «голос в романе»?

– Почему бы и нет. Ты ведь не чужая этому городу...

– Знаешь, что снится? Наша студенческая столовка возле Воскресенского базара... как я мухлюю там с талонами!

– Как это – мухлюешь?

– А так, на них на каждом стояла дата, проставленная карандашом. Надо было стереть ее резинкой и встать в другое окошко.

– Тогда можно было взять вторую порцию? А чем кормили?

– Да там только одно блюдо и было в меню: затируха. Не суп и не каша... а жидкая бурда на муке... Ты должен был являться со своей миской и своей ложкой, тебе наливали порцию... Причем к этой столовке прикреплены были и

студенты, и профессорский состав. У меня однажды случай смешной произошел... Я случайно поменялась портфелями (они одинаковые были, клеенчатые) со знаменитым московским профессором по фамилии Хайтун, он читал у нас курс истории древних веков по собственному учебнику. Сам Хайтун был страшно уродлив, но необыкновенно остроумен. Помню, впервые войдя в аудиторию, сказал: заниматься будем по моему учебнику с моим портретом – и поднял его над головой: на обложке был нарисован неандерталец. Так вот, я, понимаешь, сидела за первым столом, чтобы не заснуть после заводского дежурства. Наши портфели лежали рядом. Прозвенел звонок, он схватил мой и пошел. Я вспомнила – что там у меня в портфеле... чуть со стыда не умерла... Догоняю его в коридоре, говорю: «Профессор, вы по ошибке взяли мой портфель!» Он ахнул, мы обменялись своими клеенчатыми кошелками... и я, осмелев, говорю: «Мне ужасно стыдно: если б вы его открыли, то обнаружили бы только миску и ложку для „затирухи“! Он расхохотался, и в ответ мне: „Дитя мое, если бы вы открыли мой, то увидели бы то же самое“...

Они, бедные, голодали пуще нашего. Особенно зимами. А я тебе рассказывала, какие страшные зимы на войну выпали? Университет не отапливался... Боже, в каких обмотках и тряпье они ходили, наши профессора! Была преподавательница одноногая, она курила, ее мальчики наши угощали «Беломором»... – так одна из дур на курсе, с обмороженными ногами, как-то сказала ей: «Вам хорошо, у вас только одна нога!»... И еще преподавательница Московского университета – Кирова, Кира Эммануиловна – вот надо же, помню! – жутко была одета... Она эвакуировалась в одночасье, – понимаешь, времени не было собраться. Так и ходила – в митенках разного цвета, чулки и носки разные... Но! Входила в аудиторию и начинала лекцию с того слова, которым закончила предыдущую!.. Бедняги, они совсем доходили... Не могли же они, как мы, подрабатывать... Вот я – отлично жила!

– Отлично?! Ты говорила, что подвязывала веревками картонные подошвы туфель.

– Ну и что? Ну и подвязывала! Но я ж на заводе еще 800 граммов хлеба получала, шутка ли? Я его продавала и ходила на спектакли. Знаешь, какая театральная жизнь была в военном Ташкенте!

– Что за спектакли?

– Ну, разные... В ГОСЕТе, например, шли «Тевье-молочник», «Фрейлахс» с Михоэлсом и Зускиным... Помню, рядом сидели какие-то офицеры, вовсе не евреи, – в Ташкент же было эвакуировано несколько военных академий, – ничего на идиш не понимали. Услышали, что я гогочу, сели вокруг и потребовали, чтобы я переводила... ну, я и переводила весь спектакль... Не знаю – то ли время было такое, военное, то ли нравы почище, но только мы что-то не слышали о каких-то бытовых преступлениях... Я после спектаклей всегда шла пешком до общежития...

– А где было общежитие?

– На Лобзаке, по десятому трамваю... Общежитие, кстати, тоже всю войну не отапливалось. Мы как согревались? Сдвигали по две кровати, укладывались вместе по трое девчонок и накрывались тремя одеялами... Эх, а какой мы однажды устроили картофельный бал! Картошка была недостижимой мечтой, 50 рублей кило. И мы сбросились со стипендии, – целый месяц мечтали, копили! – накупили картошки, наварили ее, и... обожрались, как целый полк Гаргантюа – до отвала! И все, как одна, блевали потом всю ночь... Организм, понимаешь, отвык от такой еды... Хотя вот, знаешь, что у нас варили в заводской столовой? Черепаший суп! Столовую можно было опознать по горе панцирей на заднем дворе... Целые грузовики черепах гнали из Голодной степи... Мы сначала поеживались, не знали, что это французский деликатес... Потом – ничего, особенно когда постоишь на морозе на посту, на вышке... А морозы по ночам до 30-ти градусов доходили... За счет чего еще держались, хотя и не подозревали о полезности: на улице Навои сидели в ряд узбечки, продавали орехи. Мисочка – рубль. В нее штук десять орехов входило. А еще покупали в «дорихоне», в аптеке, бутылку сладкой жижи, тягучей, как смола, называлась «Холосас». Вытяжка из шиповника. И пили так чай: положишь три ложки в стакан – вкусно! Понятия не имели: витамины, калорийность, то, се... но именно это помогало выжить... Мы и на хлопок первое время ездили с большой охотой. Еще бы – в день полагались на рыло три лепешки и похлебка! Еду узбеки готовили, казалось бы – что там в этой похлебке, а – пальчики оближешь! С нами и профессора выезжали. Помню, профессор Сарымсаков – ректор наш, математик, крупный ученый, входил в студенческий барак утром – огромный фартук на брюхе, лицо и руки сажей перемазаны – и кричал: – «Самовара подана!»... Понимаешь, мы были молоды, такая вот банальность... Сейчас я себе представить не могу, как зимой, бывало, в телогрейке стояла с винтовкой на вышке...

– Погоди, а ты же говорила, что работала в цеху, обтачивала корпуса для мин...

– ...это уже потом, по благу меня устроили. Понимаешь, однажды мерзавец-нарядчик забыл меня сменить, и я на морозе четыре часа проторчала на вышке. Но ведь не уйдешь, нельзя... и я доковыляла до цеха утром, на рассвете, – стою, плачу, пальцы обморожены, не разгибаются... Меня увидел замначальника 2-го цеха, подозвал, разговорился со мной (оказывается, я ему напояла его девушку, которую он потерял, не спрашивала уж – как)... ну и поставил меня на станок... Там многие работали, второй цех был большой. Дети несовершеннолетние тоже... Некоторым приставляли ящики, чтоб до станка доставали... У меня были ночные смены.

– Постой, днем – университет, ночами – завод... Когда же ты спала?

– Ну, это уж как где прихватишь... У меня в жизни самый сладкий сон знаешь когда был? С четырех до пяти утра. Это самое страшное время, когда можно задремать и угодить ненароком в станок. Мы по очереди ходили спать в туалет, он отапливался... Сядешь вот так, прямо на цементный пол, коленки обхватишь, к стенке спиной привалишься и минут двадцать дремлешь... Это и есть самый сладкий сон на свете... Подобного уже никогда в жизни не было... Так и напиши в своем романе...»

4

...Мать, если уж ставила перед собой какую-нибудь цель, то не отступалась; как дальнбойная торпеда насквозь прошивала любое препятствие на своем пути. Идея выжить из квартиры дочь так крепко засела в ее голове, так засияла райскими чертогами в ее воображении две совершенно свободные комнаты, что заявления в милицию и в ЖЭК она писала аккуратно, через день, дело это знала, понимала, что в нашем государстве свет клином на желторотом пацане-участковом не сошелся, есть и посолднее люди, заступятся за обездоленную мать. Заступились.

Утром раненько прибыл «воронок» с двумя ментами, и забрали их обеих в отделение – разбираться в пухлой папке заявлений. Вера поехала как была – в заляпанных краской джинсах и ковбойке, – видик тот еще.

Всю ночь она просидела над срочным и выгодным заказом: несколько плакатов для соседней сберкассы (деньги в руки и на месте), и хотя утром заставила себя засесть за мольберт, – все же выпускной курс, надо и диплом писать, – рука была вялой, глаз «мылился».

Вера словно ожидала всего этого: не удивилась, выяснять и объяснять ничего не стала, молча полезла в «воронок». Только взгляд потемнел и отяжелел. Она не глядела на мать.

Та – напротив, как увидела милиционеров, встрепенулась (решила, что за Веркой приехали) и на лице изобразила горестное смирение: мол, только крайность, только горькая моя доля заставляет просить защиты от зверств родной дочери; но когда и ее под локоток повели к машине, вскинулась, возмущенно запричитала и, к большому удовольствию всего двора, долго отбивалась, как дикий вепрь, упираясь толстыми, широко расставленными ногами в кроссовках, – пока ее не утрамбовали в «воронок».

Весь день их продержали в КПЗ. В камере мать приутихла и даже пробовала вступить с дочерью в переговоры, чтобы вызнать – не намерена ли Верка рассказать о ящиках с чешской плиткой. Но Вера молча сидела на полу, обхватив приподнятые колени и уперев в стенку нехороший свинцовый взгляд.

Только не здесь, уговаривала она себя, только не здесь... Главное усилие ее было направлено на то, чтобы не смотреть на мать. Куда-нибудь в сторону, в грязно-зеленую стенку, всю исчирканную непристойными рисунками, ругательствами и именами, в пол, в решетчатое окошко под потолком, за которым временами взмахивал тополь худой рукой... только не на это, в красных пятнах, возбужденное лицо, не на эти рыжие кудряшки, не на эти невыносимые кроссовки. Иначе можно сойти с ума от взрывающей все изнутри ненависти. Только не здесь, только не здесь...

Под вечер дверь камеры открылась, пожилой милиционер-кореец повел их коридорами на второй этаж, в кабинет, где с полчаса с ними беседовала грузная женщина в форме.

Вера отвечала на ее вопросы – имя, фамилия, да, нет, – что-то односложное, чтобы не сбить себя с этой спасительной мысли: только не здесь.

Мать вела себя смирно – видать, приуныла за целый голодный день в КПЗ, а может, вспомнила свой недавний барак, и воевать с дочерью расхотелось...

Сидела и подобострастно кивала с сокрушенным видом. Вера была убеждена, что она «представляет» – траченную жизнью, больную мамашу... Сцена под названием «Я понесу и этот крест...»

Когда женщина-следователь поднялась из-за стола и прошла к шкафу за каким-то бланком, Вера увидела ее ноги – отечные, перевитые темными венами, как виноградной лозой. Она произносила казенные бессмысленные слова размягченным от жары голосом, вытирала пот с полного лица, и видно было, как она устала за день, как хочет принять душ, накинуть халат и лечь в свою постель. Такая жаркая стояла, исступленная осень. Тяжелое небо и ни капли дождя.

– И это уж в последний раз, – вяло говорила женщина в форме. – Как же так, родные люди! Как же так можно? Надо прощать друг другу недостатки, слабости...

«Слабости, недостатки, – думала Вера. – Только не здесь».

Душно было, тягостно, голова ломилась от долбящей затылок боли, – видно, менялось атмосферное давление или сказывался голодный день.

– Я правильно говорю, Вера Семеновна? Вера Семеновна?

– Только не здесь, – глухо проговорила Вера. Наконец их отпустили.

Домой шли молча. Вера впереди, мать – чуть отставая. Уже стемнело, но Вере казалось, что в глазах у нее темно от душной, тягучей ненависти, такой же давящей, как атмосферное давление.

Мать что-то почувствовала – до самого дома плелась притихшая и понурая, как овца.

Они поднялись на четвертый этаж. Вера открыла дверь, пропустила мать в темную прихожую и вошла следом, гулко хлопнув замком.

Схватила мать за горло и, сильно сжав пальцы, привалила к стене.

Мать захрапела, выкатила глаза так, что в темноте прихожей они сверкнули стеклышками оцепенелых зрачков, и впилась ногтями в руки дочери. Та сдавила ее мягкое полное горло еще сильнее... Мать закатила глаза и обмякла. Вера почувствовала дурноту.

– М-м-м... м-месяц! – проговорила она срывающимся шепотом. – Месяц даю тебе, чтоб разменяла квартиру... Через месяц не разменяешь – убью!

...Мать разменяла квартиру за две недели.

* * *

Шарахнулись друг от друга в противоположные концы города. Два часа добираться двумя автобусами. А зачем и к кому? Ни та к этой, ни эта к той...

Вера привезла в свою однокомнатную малогабаритку на последнем, четвертом, этаже этюдник, книги, картины и Сократуса в рюкзаке... Кот выпрыгнул в пустой комнате, ошалело огляделся, и до вечера обхаживал новое жилье, оскорбленно уворачиваясь от нежностей, бесшумно возникая то в кухне, то в ванной... Потом оба поужинали купленными по пути сырыми сосисками, и Сократус хмуро улегся на Вериных тапочках. Ему, хлебнувшему тяжелого детства, бытовые потрясения были не по нутру.

Она же долго стояла посреди пустой комнаты, не зная – с чего начать здесь жизнь. Хотелось чаю, но мать забрала чайник себе, как, впрочем, и все остальное.

Окно комнаты выходило на дорогу, круто обегавшую островок старинного мусульманского кладбища.

Говорили, что здесь похоронен какой-то святой невысокого ранга. При строительстве жилого квартала дорога должна была накрыть собой и выгладить три-четыре древние могилы, но старцы ближайшей махалли отвоевали у горсовета покой для святых костей. Щетина выгоревшей травы мирно пробивалась между лазурными плитками щербатого куполка мавзолея. А за дувалом древнего кладбища ехал новый синий троллейбус.

Вера достала свой любимый блокнот в черном кожаном переплете, карандаш, примостилась боком на подоконнике и стала все это зарисовывать. Когда стемнело, бросила на пол, под батарею, осеннее пальто, растянулась на нем и через минуту уже уснула молодым неприхотливым сном – не мята, не клята, – в своей собственной квартире, в своем углу...

5

Не было своего угла у Кати. Она работала на кенафной фабрике и снимала угол в одной семье.

Семья – неутомимая старуха баба Лена, ее дочь Лидия Кондратьевна, учительница математики, и внуки Колян и Толян – были домовладельцами: им принадлежала половина дома – комната, кухня и прихожая с террасой.

Дом держался на бесценной бабке. Дикой энергии была старуха. С утра затевались одновременно стирка, готовка, шитье новых наперников на подушки. Тут же разводилась в ведре побелка, и баба Лена сама, подоткнув юбку, раскорячившись, взбиралась на табурет и скоренько белила потолок в прихожке. Бывало, именно в такой горячий момент в переулке раздавался тягучий, как зов муэдзина, рев керосинщика в жестяной рупор, а через минуту въезжала машина с углем, которым топили голландку, обогревающую и эту, и другую половины дома. Баба Лена успевала все: и за керосином сбегать, и скомандовать – куда уголь сгрузить, и поругаться с шофером, и перекинуться новостями с керосинщиком... Жизнь ее кипела и бурлила, как вываренное белье в баке.

Кроме того, бабка снабжала семью овощами, половину двора занимали ее грядки с картошкой, морковью и луком, – двенадцатилетние оболтусы Колян и Толян жрали без перерыва, хватали все, что на глаза попадется, а однажды

стащили из-за занавески и слопали целую пачку печенья, которую Катя купила с полочки, побаловать себя.

На это бабка Лена восхищенно выматерилась и развела перед Катей руками.

Бабка потакала внукам, мать избивала. За все: за бычки, найденные в уборной в углу двора, за вранье, за опустошенную кастрюлю с борщом, за воровство яблок с соседской яблони.

Приходила бледная после целого дня работы, ела наспех, садилась за проверку тетрадей и сидела над ними за полночь, – с серым лицом, слезящимися глазами. Сыновьями не управляла, а потому просто лупила. Те уже отбиваться стали, вопили, валили друг на друга.

– У тебя почему, сволочь, изо рта дымом несет?!

– Да я это, ма... я во рту бумагу жег... ай, не бей, мам, пусти!!! Это все Толян!

– Я?! Это ты, гад, сам первый... Ай, мама!!! Это не я... это... беспризорники меня поймали... и курили... и дым мне в рот вдыхали! Не бе-е-ей!!!

Бабка потакала, мать избивала. Колян и Толян колотились между двумя этими женщинами, и сатанели день ото дня.

Катя старалась возвращаться попозже. Трамваем доезжала до конечной, в район Шейхантаура, и еще минут пятнадцать шла пешком, мимо освещенной чайханы, где до утра в любую погоду в ватных халатах сидели узбеки на курпачах, пили чай с колотым желтым сахаром, заедали лепешками; шла мимо мечети, мимо угасающего, но шевелящегося базара: кто-то еще продавал оставшиеся виноград и арбузы, два-три алкаша валялись чуть ли не под колесами арбы, полной дынь, отдающих ночи свое теплое желтоватое мерцание... Вдоль дувала, на котором углем было написано: «Шурик отбил у Левы толстожопую бабу», разгуливал сторож-узбек с ружьем, неизвестно что охраняющий – базар, мечеть или здание киностудии... В летней тишине, насыщенной запахами травы и деревьев, остывающего асфальта и трамвайных рельсов, запахами огромной пряной, дрожжевой-пахучей, навозной туши базара, слышалось кваканье

лягушек, пение сверчков и далекий зов привязанного на задах базара осла...

... В то время завелись у Кати кое-какие дела. Не бог весть каким наваристым местом была кенафная фабрика, но нет-нет да удавалось вынести под кофтой метр-другой парашютного шелка, прочной белой материи с синими кляксами, – ее женщины брали на платья.

Материю скупала у работниц веселая спекулянтка Фирузка, оторва, лихо мешающая узбекский язык с русским матом.

– Каткья, ти, сука, буд скромни кизимкя, ти не торгусся, джаляб!

Катя торговалась отчаянно, копеечно, не только потому, что становилась скупее с каждым днем, а потому еще, что дрожащим холодком уютилась в душе ее сиротская тоска, и никого ей не было жаль, и никого она не любила. В цеху ни с кем не сходилась, никогда не выслушивала ничью историю, не сочувствовала – считала, что ей собственной истории хватает, кто бы ей посочувствовал. Одна и одна. Даже в гости пойти не к кому, даже прогуляться «по Карла-Марла» не с кем...

* * *

...Улицы послевоенного Ташкента... – глинобитные извилины безумного лабиринта, порождение неизбежного беженства, смиренная деятельность по изготовлению библейских кирпичей...

Совсем недавно, уже в Иерусалиме, валяясь, как обычно в Судный день, на диване и читая Пятикнижие, я обнаружила, что мой дядька возводил свой кривобокий саманный домишко на Кашгарке из таких же кирпичей, какие лепили в египетском рабстве мои гораздо более далекие предки. Вот он, вечный рецепт кирпичей изгнания: смешиваем глину с соломой и формуем смесь руками. Руками, господа, руками, – и блажен тот раб, кто может сказать о себе: «Это мне не пригодится!»

Она всплескивает во мне и, очевидно, не смолкнет уже до самого конца – музыка улиц послевоенного Ташкента. С утра под звяканье бидонов выпевал густой

голос молочницы: «Моль-лёкоу! Кислий-пресний мол-лё-ко-у!»... Ей вторил голос другой, помоложе: «Кисляймляка! Кисляймляка!»... Вслед за этим дети ее стучали в дверь и спрашивали без выражения: «Сухойхлэ-бесть?» – сухой хлеб они размачивали и кормили им своих животных. Молча распахивали чистую полотняную торбочку, в которую мы ссыпали корки и горбушки, если же хлеба не было, так же бесстрастно переходили к другой калитке.

Чуть позже раздавалось шарканье галош, и зычный голос старьевщика раскатывал-разворачивал: «Шар-ра-бар-ра пак-пайм! Ста-а-арий вэшшш!» Дважды в неделю, запряженная полудохлой клячей, в переулок въезжала колымага, и престарелый герольд в телогрейке, провонявшей керосином, поднимал свой жестяной рупор: «Кар-ра-сы-ыин!», – вздымая интонацию в середине слова соответственно наклону самого рупора...

Из солнечной сердцевины дня могли вынырнуть странствующие стекольщик или точильщик – каждый со своей поклажей: всплеск солнца, стекающего с плеча на землю по квадрату стекла; огненный пересверк и брызги фиолетовых искр с лезвия точимого ножа...

Эмалевый блеск высокого неба в кронах платанов и тополей.

Ближе к вечеру, мягко озаренный уходящим светом, приезжал старый узбек на тележке, запряженной осликом: – «Джя-аренный кок-руз!» – и дети разбегались выклянчивать у родителей гривенник на белый рассыпчатый шар жареной кукурузы...

А спустя несколько лет над этими разрозненными звуками, голосами, припевками, певучими зазывами, высоко распахнется, блаженно их накрывая, беспредельный ангельский шатер «Джа-ама-а-а-ай-ки!»...

* * *

Жизнь в углу, за занавеской, под вопли Коляна и Толяна, тяготила Катю, но деваться было некуда, да и брали с нее недорого. Вечерами баба Лена звала пить чай за круглым столом, за которым обедали, делали уроки, проверяли тетрадки, кроили и шили, на который взбирались белить потолок, – крепкий дубовый стол, неизвестно когда и каким прибоем переселенцев привезенный в

Ташкент и купленный бабой Леной по случаю.

Катя выходила чай пить не с пустыми руками, всегда что-нибудь выносила из-за занавески: то стакан орехов, то горсть карамели на тарелочке. Это крепко в ней сидело: не одалживать и не одалживаться.

Вот так, в один из вечеров, за чаем завязалась свара, а потом и драка между верзилами Коляном и Толяном. Один погнался за другим, на бегу опрокинул стул с сидящей на нем Катей, и, падая, она вскрикнула тонким пронзительным голосом: страшная боль резанула желудок...

...Потом, когда уже ей сделали операцию, баба Лена объясняла соседям:

– Желудок, вишь, порвался. Она в блокаду наголодалась, желудок сильно тонкий стал, ну и порвался. А Толян тут ни при чем, так и врач сказал. Этот желудок, говорит, прям на честном слове у нее держался! Это, скажи еще, повезло, что ее привезли в его дежурство. Он как глянул на ее губы синие, голубые, так и скомандовал – на стол!

...После операции несколько дней Катю кололи морфием, – никак не унять было вопящее от боли нутро. Затихнув на короткое время, свернувшаяся кольцами боль вновь поднимала скользкую змеиную головку и, сквозь ватный заслон забытья, жалила, жалила изнутри...

Катя плакала, выла, требовала морфия... В конце концов сердобольная медсестра Галя не выдержала и сбегала за врачом. Как раз той ночью дежурил Сергей Михайлович, тот, что оперировал Катю. Когда он вошел в палату и строго наклонился над ней, она схватила его за полу халата, крутанула, наматывая на кулак, жалобно, стонуще приговаривая:

– Велите ей, Сергей Михалыч, Сергей Михалы-ич!!! Велите, чтоб укол сделала. Не могу! Не могу – не могу – не могу-у-у!!!

Он приблизил к ее дикому, залитому слезами лицу свое – худое, с длинными морщинами на вдавленных щеках, вроде даже отчужденное – и проговорил строго:

– Катя! Не безобразь! Терпеть надо!

И вышел. Но минут через десять вернулся, сел на ее койку, положил на тумбочку пачку «Беломора», достал спички и сказал:

– Ну, Катя, будем курить...

Так начала она курить, и с того дня полжизни, пока были в продаже, курила только папиросы «Беломорканал»... В тот раз они спасли ее от морфия, спасали и потом – от боли, от страха, от тоски. И покупая бело-голубую, с веной канала, пачку, Катя неизменно вспоминала Сергея Михайловича, чувствуя благодарное тепло в груди, которым даже немного гордилась: вот, значит, и она умеет любить кого-то.

Выписавшись из больницы, несколько раз приходила к Сергею Михайловичу, сидела в ординаторской и стеснялась. Он угощал ее чаем с сушками, расспрашивал про жизнь, а что Катя могла ему рассказать? Про кенафную фабрику? Про отчаянную спекулянтку Фирузку? Про чувство тошноты и уныния, которое накатывает на нее при виде прыщавых физиономий Коляна и Толяна? К тому же однажды за Сергеем Михайловичем зашла жена, жизнерадостная блондинка с морковными губами, с модной завивкой «москвичка», в широком плаще с надставными плечами.

И Катя сжалась, цыкнула на свою теплую глупость и дурацкую надежду и ходить к Сергею Михайловичу перестала...

6

В воскресенье на новую Верину квартиру пришел взглянуть Лёня. Деловито обшагал пустую комнату, потоптался у окна, восхищаясь трогательным куполком мавзолея, приговаривая:

– Ну и отлично... Ну и замечательно...

Как обычно, сунулся листать Верин блокнот, который сам же и привез ей в прошлом году из командировки, из Таллина. Квадратный, удобный, в обложке из черной кожи, с тисненными золотом латинскими инициалами ее имени, – этот блокнот был вечным: изрисованный блок бумаги вынимался, а вместо него вставлялся другой. А еще на кожаном исподе были пришиты две петельки – для ручки и карандаша. Дивный блокнот, вот что значит – традиции кожевенных ремесел у прибалтийских народов!

Под мышкой Лёня держал огромный квадратный сверток, тяготился им и не знал – как от него отделаться поделикатнее.

В комнате стоял только старый, заляпанный краской табурет, который Вере подарили на работе, в детском садике, и у стены, прямо на полу, лежал на брюхе безногий топчан. Он прослужил соседке лет двадцать, и года два уже как откинул копыта, так что, собравшись вынести старую рухлядь на помойку, соседка на полпути была остановлена Верой, и с удовольствием помогла той сопроводить топчан на четвертый этаж.

Ну, и картины стояли вдоль стен штабелями, и открытый этюдник у окна.

– Вот... – сказала Вера, – потихоньку мебелируюсь с помойки. Лёня, если б вы знали, как я уже люблю эту комнату, и какая я счастливая!

– В пустой квартире тоже есть своя эстетика, – заметил он, – ожидание новой жизни. А что это за синяя лента, вот здесь, на мольберте завязана? Какой интенсивный цвет на желтом дереве! Это концептуально? Это такой цветовой камертон?

– Да нет, это... – отмахнулась она, – некий талисман, на удачу... У этой ленты есть своя история... Потом, потом как-нибудь...

Он сделал три больших шага от окна к табурету, сел на него, сказал, ворочая на острых коленях сверток:

– Господи, куда ж эту штуковину девать? Подержите-ка, Вера, я очки протру!

Вера взяла у него сверток, неожиданно оказавшийся легким и пружинистым. Лёня протирал очки платком, вечно сохраняющим у него белизну и острие складки, и обводил стены рассеянным своим, близоруким взглядом.

– Да бросьте это куда-нибудь, – посоветовал он.

– Куда? – спросила Вера. – А что там?

– ...так, по хозяйству. Вообще, это вам.

– Мне? – настороженно переспросила она, заранее пугаясь размеров свертка.

И развернула его.

В бумаге лежал сложенный плед из шотландской шерсти, золотисто-шоколадный, в крупную темно-вишневую клетку, немыслимо роскошный для этой комнаты и, конечно, немыслимо дорогой. У Веры даже дыхание перехватило от возмущения.

– Лёня, вы сумасшедший человек! – расстроено сказала она, заворачивая плед в бумагу. – Вы спятили совсем! Что за дикие подарки? Забирайте немедленно!

– Вера, прекратите скандалить, – привычно возразил он. – Это полезная хозяйственная вещь, и вы... будете укрываться этой тряпкой... и больше ничего!

– Я прекрасно укрываюсь своим пальто, еще не хватало, чтоб вы на меня сотни выбрасывали! – воскликнула она, как всегда, заводясь и заранее зная, что перешибить его невозможно. – Заберете как миленький!

– Чепуха! Не устраивайте сцен.

– Заберете! – бессильно выкрикнула она, чуть не плача.

– Чепуха, я сказал.

– Да идите к черту!

Он пошел... на кухню, зажег газ, поставил на плиту чайник, стал доставать из портфеля свертки с едой. То есть вторая часть скандала ожидала его на кухне. Но он привык. Он, как и Вера, до известной степени был человеком ритуала. Поэтому они никогда не ссорились. Только ругались.

Лёня – если не считать угасающего, выхаркивающего душу отчима – был, в сущности, единственно близким другом. Единственно близким – после смерти Стасика. Служил он в вычислительном центре Института ядерной физики, где-то в поселке Улугбек, и занимался какими-то модульными базами данных, что-то в них закладывал или, наоборот, выкладывал, неважно! Она ничего в этом не смыслила, да и не торопилась разобраться. Знакомы они были тысячу лет – года четыре, наверное...

* * *

В то время мать уже с полгода отдыхала от коммерции и страстей в казенном доме, работала там по специальности – швеей-мотористкой, изредка присылала с отбывшими срок какое-нибудь изделие: дивно вышитую наволочку или узорную сумку, плетенную из лески, – мать все-таки была рукодельницей удивительной.

Дядю Мишу, искалеченного и теперь постоянно трезвого, после больницы забрала к себе Клара Нухимовна; видать, не превозмог он себя – вернуться в тот проклятый Катин дом, да и на четвертый этаж не было сил подниматься. А Клара Нухимовна поселила его в новом флигельке, во дворе, – хорошая беленая комнатка, три на четыре, с отоплением, с окошком, смотрящим на грядки с черносмородинными кустами, – что еще нужно больному человеку? Он почти не выходил на улицу, в хорошую погоду часами лежал в гамаке, натянутом между корявыми старыми яблонями, и смотрел в небо, словно упорно пытался с такой невероятной дистанции дознаться: за что?...

Стал он очень слабым; когда Вера приходила его навещать, в который раз принимался рассказывать об операции, показывал плохо затягивающиеся раны и душераздирающе кашлял. Говорил он теперь слабым сиплым голосом, таким непохожим на прежний его, мягкий и гибкий, бас, которым он кого угодно мог в чем угодно убедить... Шею оборачивал теплым шарфом даже летом, да и то сказать, невелика краса – этот ужасный сине-багровый шрам, неохота даже и

близким людям демонстрировать... Каждый раз заводил разговор о матери, якобы собираясь поведать Вере о ней что-то «по-настоящему страшное», но та решительно пресекала все эти ненужные воспоминания – зачем? Он только растравлял душу себе и ей.

– Поверь, Веруня, – говорил он. – Это воплощение зла в женской оболочке... Ревность ее тут ни при чем!

– Дядь Миш, – перебивала она, как обычно одержимая установлением справедливости, – но ведь с Анютой ты действительно крутил?

– Никогда не употребляй этого пошлого слова, когда говоришь об отношениях мужчины и женщины, – строго сипел он и заходил в кашле.

В конце концов Вера осторожно помогала ему выпрастаться из гамака и, совсем расклеившегося, заводила во флигелек, обняв за талию и зажав его палку под мышкой, как щеголь – свою трость... А Клара Нухимовна уже спешила через двор с дымящейся кастрюлькой: кашка вот, пока тепленькая... Или супец овощной...

Вера перевелась в вечернюю школу и устроилась работать на обувную фабрику.

Это и была одна ее жизнь, несложная – восемь часов у конвейера. Стой и орудуй круглой чистильной щеткой, очищай сапоги от клея. В первый день мастер Кириллваныч – говорливый человечек с бегущим от многолетнего конвейера перед глазами взглядом, учил Веру:

– Механика простая, цыпа. Вот он плывет, да? Ты его щеткой – р-раз! – с одной стороны, – и вся любовь. С другой стороны – р-раз! – и титька набок!

Молочная пленка клея на сапоге скатывалась в крохотную трубочку и медленно слетала на ленту конвейера, на пол. Кириллваныч однообразно двигал щеткой движением церемониймейстера полкового оркестра, поднимающего и опускающего жезл в ритме марша, весело повторяя: – Р-раз – и вся любовь! Р-раз – и титька набок!.. Держи, цыпа!

У Веры получалось хорошо, ловко. Только прицепилась дурацкая присказка Кириллваныча. Она орудовала щеткой и мысленно повторяла: «Р-раз – и вся любовь! Р-раз – и титька набок!» Прицепилась, ну что ты станешь делать! Вера злилась, пыталась вспомнить какую-нибудь песню, чтобы напевать ее про себя, но, как ни странно, именно эта пошлая припевка налаживала нужный ритм работы.

С утра лента конвейера, казалось, шла медленно. И сапог щеткой обмахнуть успеешь, и по сторонам глянуть – что где творится. К обеду руки наливались тяжестью, уже не до разговоров было, успевай только хватать плывущий прямо на тебя сапог и провести по нему щеткой, и уже не казалось, что конвейер движется медленно. А к концу смены ломило спину, шею, затылок, затекали ноги, и в глазах появлялось бледное мельтешение от сапог, словно досыта насмотрелась выступления ансамбля песни и пляски.

В обеденный перерыв шли в столовую, а кто с собой приносил – обедал тут же, в цеху. Кириллваныч доставал и разворачивал газетный сверток, ногтем счищал с вареной картофелины отпечатки передовицы или фельетона, посыпал крупной солью огурец, надкусывал с хрустом и говорил, кивая в сторону мутного окна, за которым по кирпичной дорожке шли в столовую рабочие:

– Ихний харч в зубу застриёт!

Ел с аппетитом свои нехитрые продукты, заготовленные с вечера, иногда даже любовался каким-нибудь атласным «юсуповским» помидором, с курьезно и неприлично торчащим из сердцевины клювиком, поднимал его повыше, говорил:

– На бесптичье и жопа – соловей!

Вера чаще всего не обедала – не хотелось. В то время ела она плохо, много думала, вглядывалась во всех странным своим, неотрывным взглядом. Со всеми чувствовала себя наблюдателем. Будто смотрит на людей издалека, в бинокль, и по-всякому может увидеть – может крупно, вблизи, так что видны будут вертикальная складка между бровями и красное родимое пятно в проплешине, на темени... А может охватить человека дальней цельной панорамой, так что виден лишь силуэт и различима только походка – внаклон, вот как курица ищет просо в пыли. Но зато человеческая фигура вписана в пространство так, что глаз

не разделяет вещества, из которого создано живое и неживое, вернее, все в этом пространстве, сотканном ее взглядом, делается живым, шевелящимся, теплым...

Уже тогда ее мучили лица. Однажды увиденное лицо – не каждое, а лишь то, которое просило воплощения в другую жизнь, – не оставляло ее никогда, вдруг всплывало во сне или за работой, и она мысленно – как слепой легкими беглыми пальцами – ощупывала лепку этого лица, его строй, конструкцию, настроение и цвет... Вряд ли кому она могла бы это объяснить...

Рисовать на людях стеснялась, но дома, поздними вечерами, карандашом или тушью набрасывала накопленное за день – выбрасывала, сбрасывала его в шестикопеечные ученические альбомы. И тогда появлялись на бумаге острые глазки на сухом личике Кириллваныча; вечно озабоченное, все какое-то кустистое, бульдожье – брови торчат, усы торчат, даже из бородавки на лбу куст растет – лицо начальника смены Семенова. Чаще всего, уже привычно, рука рисовала круглую, с носиком-кнопкой, плутовскую физиономию Лепёшки. «Лепёшка» – это прозвище. Может, из-за широкого затылка, приплюснутого от долгого младенческого лежания в бешике – колыбели. А вообще – узбекский парнишка, Арип, Арипчик. Фамилия – Хлебушкин. Он детдомовский, а их директор Антонина Ивановна Хлебушкина всем сиротам свою фамилию давала. Лепёшка хорошо говорит по-русски. Маленький – Вере до плеча, – но страшно самостоятельный, веселый и умеющий добывать из происходящей вокруг жизни самую разнообразную пользу: выпрашивал у обедавших бутылки из-под кефира и минералки, сдавал; выпросил однажды у учетчицы Зухры старые ее босоножки, со сломанным каблуком, обломал второй и явился в них – с видом именинника. В столовую прибегал последним, хватал стакан прозрачного кислого компота с плавающими в нем лохматыми ошметками лимона, а с тарелок на столах – куски недоеденного хлеба; уминал за обе щеки, плутовски подмигивая поварихам, за что получал иногда со дна огромной кастрюли серую общепитовскую котлету. Вера про себя называла его «Маленький Мук». Неунывающий Маленький Мук.

Лет через пять она поймет, как избавляться от мучающих ее лиц, и будет вставлять их в картины; помимо воли, они определяют некоторую конкретность раннего ее стиля... – и эти, одухотворенные ею, двойники давно уже посторонних, чужих людей заживут причудливой жизнью; придуманной, но, может, более наполненной – мыслью, чувством, – чем обыденная их жизнь. И

первая ее, отмеченная на весенней выставке молодых художников, картина – «Танцы в ОДО» – помимо неуловимо и необъяснимо звучащей музыки, являла публике все эти лица, выглядывающие из-за плеча, повернутые в профиль, с закушенной в зубах сигаретой, оскаленные в азартном усилии выделявания колена.

...Даже приплюснутый затылок Лепёшки, Маленького Мука, прилипшего к материнскому бюсту рыжей кондукторши трамвая № 2, – все это крутилось и вихрилось под звездным небом на небольшом холсте – 65х40, – заставляя зрителей снова возвращаться к картине, неудачно висевшей в темной нише в углу зала.

После занятий в «вечерке» разболтанный визгливый трамвай с рваной, словно проеденной мышами, резиной на складнях дверей привозил ее домой, в другую жизнь – всегда неожиданную.

То дверь ей открывал незнакомый человек, смотрел вежливо и недоуменно, а из комнаты кричал Стасик своим прокуренным шершавым баритоном:

– Это Верка? Верка явилась наконец-то? Перезнакомьтесь там сами как-нибудь! Боб, ты надел Веркины тапочки. Верни... – и кому-то в комнате на подхваченной интонации, – ...а ты перечитай «Смерть Ивана Ильича», помнишь, с чего начинается действие?...

...Чаще открывал сам Стасик, хотя Вера заранее доставала из кармана ключ, но Стасик умудрялся слышать ее шаги еще на первом этаже – слух у него был поразительный, собачий, – и чуть ли не мгновенно оказывался у дверей на своих костылях.

– Наконец-то! Где ты бродишь? Не переобувайся, мы уходим. В «Публичке» лекция о западно-европейской музыке конца XIX века. Элла заходила, она сегодня играет.

И они лихорадочно собирались; разыскивалась в недрах шифоньера чистая рубашка Стасика, молниеносно отчищался щеткой пиджак, завязывался галстук («Верка, галстук к моей физиономии, что фрески Рафаэля в конюшне совхоза

„Серп и молот“) и быстро – как ковбойский конь копытами – перестукивали ступени костыли.

Иногда в дверях она находила записку: «Вера! Живо в Дом знаний! Сегодня выступает Юлий Ким!»

Вблизи Стасика жизнь была толкова, горяча и наполнена оздоравливающим смыслом.

Впрочем, все это она сформулировала для себя потом, много лет спустя, и тоже в неожиданном, оздоравливающем месте: в Карловых Варах, куда пригласил ее погостевать на пустой вилле владелец одной из пражских галерей, где году в восемьдесят девятом проходила ее выставка. И вот там, сидя рано утром в центральном павильоне, вблизи самого мощного источника, бьющего гигантской струей в потолок и распространяющего вокруг себя волны горячего озона, она вновь думала о Стасике, в который раз ощущая его присутствие так близко, что не хотелось уходить, словно, просидев тут еще с полчаса, можно было дожждаться его наконец, спустя столько лет...

...Впоследствии Вера удивилась бы, если б кто-то назвал Стасика калекой. А в ту вялую длинную осень, когда она осталась одна, жила тихо и медленно, вровень с вечерними сумерками, – она не удивилась. Раз на костылях – значит, калека. Вообще-то ей и в голову не приходило сдать комнату – все-таки на фабрике получалось рублей шестьдесят в месяц, деньги хорошие, особенно для первых заработков шестнадцатилетней девчонки. Одной хватало.

А тут как-то вечером постучалась соседка Фая, – смуглая и верткая, как угорь, – втокнула Веру в прихожую, сама вошла, оглянувшись, притворила дверь и заговорила быстрым шепотом:

– Верка, жизнь-та какая пошла! Дороговизны-та какая! Сегодня на базаре пятнадцать рублей оставила, а спроси, что купила?

– Денег, что ли, одолжить? – спросила Вера, ничего не понимая.

– При чем одолжить! – обиделась Фая. – Одолжить не к тебе пойду, ты сама бедная. Я с хорошим делом: на квартиру человека непустишь?

– А почему шепотом? – недоумевающая, спросила Вера.

– Ты дура совсем, да? Зачем разглашать? Чтобы эта сука Когтева из шестой квартиры бумаги в ЖЭК писала? Скажешь – брат из Янгиюля приехал... Да ты не бойся, он калека, на костылях. Приставать не будет.

– А зачем мне все это?

Месяца три уже Вера жила одна, боясь поверить, что этот покой и простор – надолго, на целых пять лет; что мать не заявится, как обычно, после своих коммерческих экспедиций – с привычными угрозами, бранью, погоняловкой и мордобоем...

Вечерами она часто пропускала занятия в школе, могла часами лежать на диване, не зажигая света, перебирая лица, увиденные за день, за неделю, за эту осень. Размышлять о матери, о дяде Мише.

Сдать кому бы то ни было комнату, значило – впустить неизвестного человека в медленные текущие вечера при свете уличного фонаря за окном; значило добровольно разрушить возведенные вокруг себя высокие светлые стены.

Она и потом будет так же вынашивать картины – сначала бесцельно кружа по дому, машинально касаясь рукой предметов, пробуя поверхность на ощупь, словно бы знакомясь с неведомым веществом мира, незнакомым составом глины... Наконец ложилась, заваливалась, как медведь в берлогу, закукливалась, как бабочка в коконе. Иногда, перед началом большой работы, лежала так, замерев, без еды, целые сутки... Как бы дремала... Если муж спрашивал ее: «Ты спишь?», – отвечала, не шевелясь, не открывая глаз: «Нет... работаю...»

А наутро взлетала – легкая, еще больше похудевшая, – принималась натягивать холст на подрамник.

– А двадцать рублей тебе валяются каждый месяц? – спросила Фая.

– На фиг, – кратко ответила девочка.

– Слушай, больного человека совсем не жалко, да? На костылях, калека... Из хорошей семьи человек, моей подруги племянник. Думаешь, безродный какой-нибудь? У них с отцом в Янгиюле домина в шесть комнат. А отец – ветеринар такой, что к нему со всех совхозов подарки возят на грузовиках. Грузовик дынь! – клянусь, сама видала, Цой послал, председатель колхоза «Политотдел». Герман Алексеич, он немец высланный, вдовец, культурный человек. И сын такой хороший мальчик, да вот, беда с ногами, с детства. Ему трудно в институт с Янгиюля добираться. Каждый день туда-сюда автобус, на костылях, а? Да еще эту возить – ящик этот, с красками...

– Этюдник? – встрепелась Вера. – Он художник?

– Ну, а я что тебе говорю! – обрадовалась та. По всей видимости, она вовсе не рассчитывала на этот козырь, и за козырь его не держала, хоть и знала, что Вера рисует: карандашный набросок – вихрастая головка ее младшенького, Рашидика, – красовался у Фаи в кухне. – Он и тебя научит что-нибудь, а?

7

Художник-калека оказался здоровенным, былинно-русой красоты парнем, добрым молодцем из сказки, только роль борзого коня исполняли костыли – обжитые, обихоженные, с перемычками для ухвата, отполированными его мощными ладонями до блеска.

Стасик переболел полиомиелитом в детстве, так что отсутствие ног, вернее бестолковое их присутствие, его нисколько не смущало.

Он сразу заполнил всю квартиру – своим голосом, прокуренным шершавым баритоном, своими ящиками с краской, углем, сангиной; костылями, которыми владел виртуозно, и поэтому мог делать все без посторонней помощи, да так ловко, что куда там Вере. Впрочем, по истоптанному домашнему маршруту он

способен был проковылять и так, в подмогу себе привлекая то спинку стула, то косяк двери, то близкую стенку.

Костыли же оказались совершенно одушевленными, и время от времени Вера натыкалась в разных углах квартиры на эту легкую танцевальную парочку, словно за ночь их туда приводило любопытство.

Она во все глаза глядела на этюдник, свою мечту, – до этого видела такой, дорогущий, в художественном салоне, – на самого Стасика, диковинного человека, которому все было любопытно, все нужно, и все – в охотку.

Он, как и его отец, принадлежал к типу людей, которые дружат с людьми, вещами, живыми существами, погодой и всем, что произрастает вокруг. Любое действие у него превращалось в действо. Перестановка предметов на кухонном столе – в композицию. Стасик знал рецепты самых неожиданных блюд, вроде татарского чак-чака, варил лучший в мире кофе (действительно лучший; даже в Стамбуле, даже на Крите, где ее водили в специальные места – пробовать особенный кофе, она не пила лучшего, чем тот, что варил Стасик на газовой конфорке в их кухне); он по-особому заваривал зеленый чай, колдуя над нужной температурой воды, – при этом казалось, что старый чайник с надбитым носиком таинственным образом влюблен в его руки и тянется к ним, что пиала сама просится в его большую и удобную ладонь... Он знал, как отчистить старую замшу, высветлить темное серебро, отстирать любое пятно с материи; когда Вера заболела, он за два дня поднимал ее на ноги, заставляя дышать над кастрюлей с кипящим отваром каких-то незапоминаемых трав, безжалостно жестко растирая ей спину (боже, какая ты худющая!) остро пахнущими и больно жалящими мазями... Сам не болел никогда: будто детская страшная болезнь, отобравшая у него ноги, истощила отпущенные на его жизнь недомогания.

...В первые дни она еще пыталась отгородиться от него в своей комнате, молча рисовала что-то в альбоме, прислушиваясь к голосу, напевающему, рассуждающему, – Стасик имел обыкновение спорить с невидимым собеседником, и вообще, в отличие от нее, оказался человеком звучащим и жаждущим звуков, самых разных... – хотя ей нестерпимо хотелось посмотреть, как он работает, потрогать тюбики с красками, пощупать щетину кистей.

Она боялась выдать себя, свое острое к нему любопытство.

Но надо было знать Стасика – его просветительскую жажду и его страсть: затаскивать, затягивать в свою душу и свои увлечения всякого, близко расположенного к нему человека.

Сначала он не мог разобраться в этой молчаливой сумрачной девочке. Он не понимал, чем она живет – тряпками вроде не интересовалась, телевизора в доме не было, подружки не приходили, радио не включалось. Вечерами, возвратившись с какой-то обувной фабрики, закрывалась в своей комнате и замирала там, будто засыпала. Ни шороха, ни стука. Бесшумное существо с острыми плечами и внимательными, испытующими глазами. Вот эти глаза и беспокоили Стасика: веки припухшие и мягкие, но серая радужка обведена четким кругом и черным гвоздиком вбит зрачок. Он знал такие взгляды – обращенные в себя и одновременно хищно выхватывающие из окружающего мира для своих каких-то нужд те таинственные блики, тени, чешуйки света, которые наполняют пространство и одушевляют его.

В этой девочке надо было разобраться.

И недели через две он не вытерпел: заложив закладкой страницу в альбоме «Русская живопись второй половины XIX – начала XX века», постучал в дверь Вериной комнаты.

Услышав стук, она закинула под подушку блокнот, в котором третий вечер рисовала римскую казнь: распятого бродягу на обочине Аппиевой дороги, вскочила и молча открыла дверь. Навалась подмышкой на костыль, Стасик держал перед ее носом раскрытый альбом.

– Это что? Быстро!

– «Бурлаки на Волге», Репин, – недоуменно бормотнула она.

– Так. Это?

– Ну, «Боярыня Морозова», Суриков...

– Хорошо. Это?

– Господи, да «Грачи прилетели», Саврасова... – уже обижаясь, буркнула она. – Ты мне еще плакат «Миру – мир!» загадай.

Он захохотал – сочно, раскатисто, словно в горле жил кто-то самостоятельный и слегка поддатый, и заорал:

– Все ясно! С тобой все ясно, молчальница! Показывай рисунки.

– Какие рисунки? – покраснев, буркнула она.

– Давай-давай, показывай. Нет, но какой я психолог, ядрен корень? Я всё-о сразу просек!

Он плюхнулся на венский стул, отставил к стене костыли и серьезно уже, молча стал рассматривать ее, сваленные перед ним на полу, альбомы, блокноты и отдельные четвертушки ватмана, которые она утаскивала с уроков черчения в вечерней школе. Смотрел долго, то останавливаясь на каком-нибудь листе, то бегло проглядывая подряд несколько, тяжело сопел, словно физически работал, и раздраженно отмахивал свисающую на лоб пепельно-русую прядь.

Сидя на полу, сжав колени ледяными руками, Вера ждала приговора. Сердце напряглось и дрожало, но лицо казалось спокойным и даже скучающим. В том, что Стасик – наивысший суд, она не сомневалась ни минуты.

Наконец он отложил последний альбом, насупился и с минуту разглядывал Веру так, как рассматривают со всех сторон вырезку, размышляя – что лучше из нее приготовить.

– Шутки в сторону, – наконец сказал он. – Дело плохо... – и заметив, как разом побелели скулы девочки: – Ничего не умеешь, ничего не знаешь, а времени осталось с гулькин нос, за полгода нужно подготовиться к училищу.

Вера перевела дыхание. Она ничего не поняла, но ясно было одно – ее помиловали, и жизнь продолжается. Главное же, произнесено слово из заоблачных сфер – широкое и сводчатое, как врата храма.

Она все еще не могла прийти в себя, чувствуя, как толчками бьется освобожденное сердце, а Стасик уже кричал откуда-то из кухни: – Где?! Что-нибудь! Есть что-нибудь в этом доме для натюрморта? – и что-то падало, звякало, стучала дверца буфета.

Наконец, после оголтелых поисков и тарарама, соорудили натюрморт: на табурете расстелили синюю Верину майку, установили горшок из-под засохшего цветка, два яблока и картофелину.

Стасик долго менял местами эти незамысловатые предметы, сопя и приговаривая: «А мы вас вот эдак... нет, балда, тебя мы вот сюда... а тебя во-о-от... сюда!» – Складывал ладонь трубочкой, смотрел в нее, отскакивая назад... Костыль поскрипывал и побряхывал, как терпеливый и многострадальный старик.

Вера, приоткрыв рот, не отрываясь, смотрела на действия Стасика.

– Завтра воскресенье... вот с утра и начнем, – сказал он наконец.

– Сейчас! – пробовала возразить она... – Только набросаю... контуром.

– Запомни, несчастная: его величество дневной свет! – весело и строго крикнул Стасик. – Раз и на всю жизнь вбей себе это в башку – живописи противопоказано электрическое освещение! Оно искажает цвет. Только дневной божеский свет! – костыль взмыл и ткнулся резиновым наконечником в сторону темного окна, – и никакого кроме... Твое настроение будет зависеть от погоды, привыкай к этому. И еще, – он усмехнулся, – привыкай к одиночеству. Это надолго, на всю жизнь.

– Почему? – тихо удивилась Вера. Удивилась потому, что и раньше об этом догадывалась.

– Потому что, как всякий художник, ты будешь невыносима. Ты и так не сахар, а будет и хуже. Профессия эта не галантная, с годами вырабатывает тяжелый характер... думаешь и говоришь только о своей работе, а это скучно, – кому такая баба нужна, и кто тебя, такую, вытерпит? Это я обязан тебе сказать. Так что выбирай, еще не поздно.

Вера засмеялась с облегчением, и он ее понял. И сам расхохотался:

– Правильно! Поздно...

* * *

К ним приходили как в семью, – дом стал открытый, шумный. Часто вваливалось человек по восемь-десять, большей частью незнакомых, – какие-то художники, журналисты, начитанные и высокомерные девочки-филологички, студенты консерватории, в свободное время связанные с музыкой в основном пятью гитарными аккордами, редактор издательства имени Гафура Гуляма, сам кропающий короткие рассказы и уже издавший тощую, на скрепках, книжку стихов, которую ему никогда не допустили прочесть; зато престарелый неприбранный поэт Адольф Минков читал свои стихи треснутым тенором, пришепетывая и помогая себе мерным отсылающим взмахом руки с сигаретой между средним и указательным пальцем... И еще какие-то оригиналы, заочные воспитанники Брэгга, последователи йоги, кухонные певцы, не чуждые «Баян-ширея»...

Спиртное сопровождало всегда... Несколько честных драк было замято соседями. Да и Стаикин костыль, бывало, точными попаданиями разнимал оленьи бои...

За эти месяцы, как потом вспоминала Вера, было прочитано, вернее проглочено, невероятное количество книг, которые приносились за пазухой, в брюхатой глубине портфелей, являлись в качестве толстой пачки перепечатанных бледных копий. Читать их надо было за ночь, а прятать – в кухне за батареей.

И повсюду в разговорах-посиделках незримо присутствовала «ГеБуха», которую Вера представляла себе вульгарной, поддатой и размалеванной бабой, а оказалась она – правда, гораздо, гораздо позже, – хорошо воспитанным молодым человеком, неплохо, кстати, разбирающимся в живописи, который сначала представился давним знакомым «покойного Станислава», а потом попросил ее объяснить (дело происходило на ежегодной Республиканской выставке) «закодированный смысл» картин некоторых художников.

И Вера, чтоб уже развязаться с этим навсегда, в первый и последний раз в своей жизни грамотно и подробно выдала ему весь богатый материн репертуар. И ее больше не трогали, разве что перестали допускать на выставки... Но и это уже, грех жаловаться, пришлось на закат империи, – дядя Миша во всем оказался прав.

8

Длинный глубокий зал Ташкентской Республиканской библиотеки напоминал протестантский собор – высокие потолки, высокие притолоки массивных резных дверей, высоко расположенные окна.

В церковной тишине за длинными деревянными столами сидели под лампами посетители всех возрастов, бесшумно строчили в тетрадях, перелистывали страницы, разговаривали шепотом. Время от времени в конце зала открывалась высокая и узкая створка двери в служебное помещение, и тогда все головы поворачивались в том направлении: оттуда всегда появлялась Тамара. Ее называли «царица Тамара», и правда, имя очень ей шло. Это была молодая женщина изысканной утомленной красоты, с прекрасной фигурой какой-то особенной стати (помню прогулочный ход дымчатых ног с безупречными стрелками – такие ноги доставали у спекулянтов). Но и черные изящные туфельки на высоких каблуках, и узкая юбка, продуманно и точно открывающая точеные колени как раз там, где глаз хотел остановиться, и медленная раскатка походки не были главным ее козырем. Она всегда почему-то одевалась в черное, и короткие волосы, черным крылом перечеркивающие лицо, когда она медленно наклоняла голову к знакомому за столом и кивала ему на какой-нибудь вопрос, являли ошеломительный контраст с ее миндалевидными, дивного оттенка зелеными глазами. Такого изумрудного оттенка зеленый цвет я видела только у нежно стелющихся по дну неглубокого арыка темных водорослей.

Словом, не было ни одного посетителя библиотеки, ни мужского, ни женского пола, кто не обернулся бы вслед «царице Тамаре» и не проводил ее долгим взглядом, пока она проходила между рядами столов и скрывалась за высокими дверьми служебного входа...

Полагаю, что многие мужчины приходили сюда, чтобы увидеть эту, безупречной красоты, молодую женщину.

Однажды утром мы с соученицей оказались в «Публичке», поскольку должны были готовить совместный исторический доклад, не помню уже на какую именно, – на краеведческую тему. Кажется, доклад должен был стать искуплением очередной моей вины, шлейф которых тянулся за мной вдоль всей школьной жизни до самых выпускных экзаменов... Я всегда была заметной ученицей – в том смысле, что вечно на «заметке».

Мы с подругой устроились за столом в зале каталогов на первом этаже, и в похоронной тишине утреннего пустого зала (до сих пор вижу, как струится пыль в солнечном луче, и за окном безвольно, как белье на веревке, плещется желтая листва тополя), занялись поисками нужных источников.

Скрипнула дверь. Я обернулась и увидела столь занимавшую меня «царицу Тамару»; она села в углу за рабочий стол и погрузилась в какую-то писанину... Быстро бежала по листу ее рука с зажатой в тонких пальцах самопиской.

Минут через пятнадцать в дверях возник молодой человек, по виду мало напоминающий охотника за знаниями. Он огляделся, сразу же направился к столу, за которым сидела библиотекарьша, и обратился к ней с неслышным нам вопросом.

И вдруг... Нет, эти кошмарные звуки нельзя было назвать человеческим голосом. Дело было даже не в хрипе порванных от природы связок, а в каком-то дефекте носоглотки, издающей это ужасное гнусавое карканье.

Я испуганно стала озираться в попытке обнаружить источник испугавших меня звуков и, в полном оцепенении, поняла, что издает их «царица Тамара»...

Увидев мое ошеломленное лицо, подруга спокойно спросила: – Ты чего? Чего у тебя такая физия? – проследила глазами направление моего взгляда и протянула:

– А-а... ну, это же Тамарка... Соседка наша...

– Она что... больна? – спросила я.

– Почему больна? Просто, голос такой... от рождения... Ну, и там что-то надо было оперировать в самом детстве, да родители прозевали, а сейчас уже поздно...

– Бедная... – пробормотала я. Моя подруга усмехнулась:

– Кто – бедный? Тамарка? Ты за нее не переживай. У нее знаешь, сколько мужиков? Чуть не каждую неделю новый... Так что давай, отключись от проблемы...

Она сунулась опять искать что-то по ящичкам, а я все ждала, не решаясь повернуть голову в ту сторону, где непринужденно сидела царица Тамара, боясь обнаружить болезненный интерес и сострадание и в то же время испытывая алчное желание услышать еще, еще чуть-чуть этого карканья, этого скрипа ржавых уключин, – чтоб потом наделить им кого-то в новой захватывающей повести, которую писала в толстой тетради, обреченной, – как и остальные тетради, «плоды безделья», – быть выкинутой моей решительной мамой в припадке учительского гнева, помноженного на родительское отчаяние...

* * *

В июле Вера поступила в училище, как провозгласил дядя Миша торжественным слабым голосом – «художества и судьбы!». Они даже опрокинули по рюмке дешевого вина «Ок мусалас» за ее будущую учебу, но с отвычки дядю Мишу немедленно и вырвало, и он, прокашлявшись и выпив чаю, опять попытался завести обличительную беседу о матери, убийце и дьяволице...

– Ну... брось, дядь Миш, не думай о ней! – взмолилась Вера, всегда с паническим суеверием пресекавшая эти разговоры, как дикарь опасается произносить вслух имя злого духа, дабы не вызвать его, не материализовать ненароком грозную сущность. Да и то сказать – сидит себе мать за решеткой, как ей и положено... и можно жить спокойно еще года четыре, если амнистии ей не выйдет... что воду-то переливать? Не вернешь ничего...

И дядя Миша унялся, послушно переменял тему, стал хвалить Стасика, который за полгода подготовил Веру к вступительным... хотя к самому Стасику относился ревниво, черт знает что подозревал и, если выпадали дни, когда чувствовал себя не так уж скверно, то цеплялся, как банный лист, настоящие допросы устраивал: что да когда – жизнь час за часом... Чудак, – словно опасался, что выпадет из ее времени, и тогда кто-нибудь займет его место, – Стасик, например... Она пыталась объяснить ему, что, при всех обстоятельствах будущего, этого уже никогда не произойдет...

Впрочем, в последнее время сил у него на подобные разговоры становилось все меньше...

А Стасик и вправду всего за полгода подготовил ее к экзаменам, да так, что сам Гольдрей, Айзек Аронович, гроза и ужас всех студентов, поставил ей за рисунок высший проходной балл!

Гольдрей был учеником Бродского, отличным живописцем. В начале войны работал в Эрмитаже, помогал переправлять в безопасное место бесценные полотна гениев; «Я видел эти картины без рам! Вся искусствоведческая болтовня о темной палитре Рембрандта – буйда и миф: на сгибах подрамников эти холсты сохранили свои исходные краски – гораздо более светлые, чем сейчас!». Потом эвакуировался с Академией художеств в Самарканд, жил в одной из келий Медресе Улугбека, преподавал в училище Бенькова. И вот тогда его навеки покорила желтый, бирюзовый, охристый свет Азии, ее могучая природная палитра: дробный пурпур разломленных гранатов, багряные кисти винограда, зеленоватое золото бокастых дынь... Кровь сыграла, кровь далеких восточных предков... И больше не вернулся к серому граниту белых ночей.

Был Айзек Аронович человеком ядовитым и одиноким. Никого не щадил:

– Сядьте спокойно, Галя, – это натурщице, – и примите умное выражение лица. Потом можете принять прежнее...

Смешно ходил по комнате, пришаркивая, заглядывал носом, как ворон клювом, то в один этюдник, то в другой. Говорил: «Пишите кистью, лепите форму краской! Творите медленное погружение в лаву цветовых событий, создавайте плотную энергетическую среду!...»

И на целых четыре года заветный адрес на Бешагаче: улица Байнал-Минал, № 2, напротив мясокомбината, – определил бег, темп и смысл ее жизни...

Тот еще запашок сопровождал годы учения в альма-матер. Но он же и закалил обоняние: крутая смесь запахов висела в классе – краски, скипидар, пыльные драпировки, пряная животная вонь из ворот мясокомбината и, как необходимая тонкая компонента, – проникающий в форточку запах буйной дворовой сирени по весне. И никогда больше, в какие бы трущобы ее ни завела бродячая судьба, Вера не воротила нос от испарений и дымов человеческих тел и жилищ...

– Веруня, – добавил дядя Миша назидательно, – а ты и к Владимиру Кирилловичу сходи... маслом каши не испортишь.

Уж он-то педагог милостью Божьей, не смотри, что судьба в котельную загнала... Помнишь, как тебя хвалил?

Но, закрученная-заверченная новой жизнью, загруженная учебой по макушку, Вера так и не выбралась в котельную, и позже уже не выбралась к Владимиру Кирилловичу никогда, а увиделась с ним только на дяди Мишиных похоронах... Потом уже, в Москве, в Питере, даже в Риме, даже в Веллингтоне, встречала его учеников, слушала восторженные воспоминания... Вот уж точно говорится – судьба не привела. А казалось бы, куда там приводить: сядь на десятый трамвай, протрясись минут тридцать, войди через арку в огромный двор многоквартирного, покоем выстроенного дома, спустись по ступенькам в подвал... и ты на месте!..

Нет, всеми этими тропами ведает кто-то по небесному путевому ведомству, кто и билеты выдает, и сам же их компостирует, – на трамвай ли, до Алайского, в поезда ли, самолеты, в разные страны, во встречи-расставания...

* * *

Однажды она открыла, что у Стасика есть знакомые, которых он в дом не приводит...

Часто, если совпадали по времени, они договаривались встретиться после занятий на Сквере, у памятника голове лохматого Карлы, и шли куда-нибудь шляться. Летом катались на лодке по Комсомольскому озеру. Стасик сбрасывал рубашку и садился на весла, а она сидела напротив и, чертыхаясь от раскачиваний, все же быстро и точно набрасывала его великолепный торс, широкий разлет грудных мышц, красиво развернутые плечи и крупную голову с густой копной русых волос.

Денег в то время у них было навалом: две стипендии, да детсадовский подработок на «мишках-мышках». Началось все со случайной копеечной халтуры: разрисовать сказочными персонажами стенку летнего павильона в ближайшем детсаду. Но мишки и мышки, которых они со Стасиком от души наваяли в четыре руки за субботу-воскресенье, настолько пленили воображение и детей, и, главное, воспитателей, что их дружную бригаду стали передавать из садика в садик, платили исправно, да еще и подкармливали манной кашей и казенным борщом.

Запросы у обоих были мизерные: сырки «Дружба», пирожки с требухой по пять копеек (их каждый день часам к пяти вывозили на тележке к воротам мясокомбината) да лепешка с маслом, особенно если подсушить ее в духовке... Ну, если совсем уж разгуляться с гонорара за «мишек-мышек», то и пива пару бутылок...

За первый год в училище Вера вытянулась и повзрослела так, что это заметил даже Герман Алексеевич, когда весной они вдвоем навещали его в Янгиюле.

– Стас, а Вера-то тебя переросла!

– Где, где? Еще чего не хватало! – возмущенно крикнул тот. – А ну, поди сюда, Верка!

Они встали рядом, лбами друг в дружку... Смешно касались носами... Так близко были его губы...

– Сантиметра на два... – сказал Герман Алексеевич...

И Стасик очень смешно обиделся, и дулся на нее весь вечер, пока пили в беседке чай с оладьями и айвовым вареньем.

Вокруг лампочки над столом шуршали глухие баталии ночных бабочек, две приняли мучительную смерть в глубокой миске, в прозрачном и нежном озере варенья, где плавали золотые, в электрическом сиянии, дольки плодов...

Никогда позже Вера не будет настолько чувствовать себя хозяйкой судьбы, как в те вольные, шумные и счастливые три года, когда мать держали взаперти, дядя Миша худо-бедно еще жил в земной оболочке, а они со Стасиком были – семья.

И никто бы не поверил, что два юных, взрывных и своенравных существа почти все это время прожили в одной квартире на расстоянии братской близости друг от друга. Да Вера потом и сама не могла этого понять и простить себе. А у Стасика понять и оплакать это совсем уже не оставалось времени...

Так вот, однажды она обнаружила, что у него есть неизвестные ей знакомые...

Они шли вдвоем через Сквер, и он все время озирался в поисках телефонной будки. Дважды уже попадались с испорченными автоматами, – Стасик явно бесился и на вопросы огрызался. Наконец в третьей будке телефон оказался действующим; он вошел, сложил костыли парочкой, оперся сразу на оба, накрутил диск и минут пять говорил с кем-то странным тесным тоном, каким разговаривал, если злился на Веру или не хотел высказываться. Но особенно странным было то, что на том конце провода его... – Вера близко стояла и доверчиво наблюдала этот разговор... – вроде как передразнивали: кто-то каркал, скрипел... явно издевался... А Стасик, вместо того чтобы отбрызнуть наглеца как полагается, повесить трубку, плюнуть... отвечал терпеливо и всерьез... Да еще нервно постукивал ребром «двушки» по железной полочке.

– А что, завтра не получится?... – говорил он... – Тогда послезавтра, где обычно... я все устрою... Он даст ключ...

И в ответ опять его так же скрипуче-гнусаво передразнили...

– Кто это был? – удивленно спросила Вера, когда Стасик вышел из будки.

– Одна знакомая... Ты не знаешь...

– Это – девушка? Какой у нее...

– Да... – поколебавшись, сказал он... – необычный голос... больные связки и... особенность строения носоглотки.

– А почему ты ее никогда не приводил к нам?

– Зачем? Она... из другой оперы...

– Еще бы, – согласилась Вера, приотстав от него на полшага и ощущая непонятную духоту в области диафрагмы... – такое чудное сопрано...

– Зверек! – удивленно проговорил он, обернувшись и легонько съездив лапой по ее запущенной, «дикой», как говорил он, стрижке. – Тебя эти темы никак не должны касаться!

– Значит... – сказала она, задыхаясь, – значит... когда ты сказал, что едешь в пятницу к отцу в Янгиюль... ты...

– Не твоё дело, – сухо оборвал он.

– Ты... ты – мне – врал?! – и растерянно остановилась, ничего не понимая... – Зачем?!

– Не твоё дело! – крикнул он раздраженно.

Тогда она резко развернулась и пошла в противоположную сторону, безжалостно быстро, чтобы он не смог догнать. Он орал вслед сначала что-то насмешливое, потом сердитое, приказным тоном... Она не остановилась: нашел себе ручного зверька!..

И только когда на следующий день, взъерошенный и взбешенный, с бессонными тенями под глазами, он разыскал ее у дяди Миши во времянке и выволоч, чуть ли не насильно, во двор, она с горьким удовлетворением позволила увести себя домой.

Так она потрясенно для себя открыла, что любит его. Вернее это была череда болезненных открытий: оказывается, он был мужчиной, а не просто Стасиком, у него была женщина, красавица с мерзким голосом мультипликационной вороны, он уходил к ней время от времени на ночь, и – что совершенно парализовало Веру, – она ощутила, что, оказывается, страшно, до спазмов в горле, ревнует его... И последнее, чудовищное открытие: она поняла, что, оказывается, может запросто убить ту, другую (видела ее в библиотеке и была сражена красотой и статью этого нетопыря в женском обличье), – и даже знала как: вот как мать зарезала дядю Мишу, – крепко сжав рукоятку ножа, с сильным замахом погрузить его в яремную ямку... (несколько раз перед сном она мысленно целилась и попадала, но для этого надо левой рукой сильно отогнуть назад голову той)...

Выходит, она могла, оказывается, стать такой, как мать. А этого уже никак нельзя было допустить! Нет, нельзя! Главное для Веры было – не стать такой. А вот какой ей стать – она еще не знала...

* * *

...Приблизительно в это же время появился и Лёня, привел его не то Сенька Плоткин, не то Саша Стрижевский, не то поэт Минков. Праздновали день рождения Стасика. Народу набилось в тот вечер полон дом, кто-то пек в духовке картошку и резал сыр, группка курила на балконе, пугая соседей выкриками:

– Ты полистай Бердяева хотя б для хохмы, старик!

Стасик показывал какому-то долговязому свой последний пейзаж. Долговязый рассеяннo шурил близорукие глаза за стеклами очков и помалкивал.

Он вообще помалкивал весь вечер. Вера забрела на кухню, где чернявая Сенькина подруга Марина пасла в духовке целое стадо рыжих картофелин, и спросила у нее:

– Такой высокий, глаза добрые – это кто?

– Лёня-то? – отозвалась Марина, отдернув руку от горячей картофелины. – Да это же Волошин, его все знают... Мать у него профессор, ухо-горло-нос,

завотделением в 16-й горбольнице... Он всех-всех знает!

– Зачем? – не поняла Вера.

– Ну, такой человек-коммутатор, всех между собой перезнакамливает...

– Странная профессия... – удивилась Вера. Маринка рассмеялась и сказала:

– Да нет, это не профессия, он в «ящике» служит, не помню точно – где... что-то с ядерной физикой...

Долговязый мелькал еще раза два-три за тот год: подошел к ним на выставке Файзуллы Насырова, постоял рядом минут пять, внимательно слушая баритон Стасика, и непонятно было – согласен он с ним или нет...

Еще как-то столкнулись в продуктовом магазине; Вера кивнула ему, он запоздало и удивленно ответил, назвав ее «сударыней». Здравствуйте, сударыня...

Вовсе не показался Вере человеком-коммутатором. Была в нем какая-то церемонность, принадлежность к иному, не знакомому Вере, кругу... И сдержанная взрослость, погруженность в себя – чего совсем не было в Стасике.

Иногда она просила его «постоять чуток» – позировать, чего он не любил, – совсем не мог пребывать в неподвижности, словно каждую минуту старался наперед взять реванш у своей болезни, – но под ее мольбами сдавался, раздевался до пояса и, опершись на костыль, как гребец на весло, с мученическим выражением лица ждал, когда она завершит набросок. Для нее же эти сеансы таили неизъяснимые попытки проникнуть в заросли детских своих видений...

...Долгое время Вера считала это сном.

Впрочем, это и было сном, довольно часто повторяющимся: высокая, как заросли, – выше человека – трава, рядами растущая на покатом склоне холма, и голый, с одной только желтой повязкой на голове, всадник въезжает в высокие эти заросли, и волнами, зелеными волнами пробирается внутри до кромки поля... А там разворачивает коня, и вот уж желтая косынка бороздит поле в обратном направлении... И с каждым новым заездом все быстрее и быстрее скачет конь, и все громче покрикивает, все веселее хохочет всадник... А солнце, которое только что стояло высоко-высоко в небе, над белоснежным пиком главной, выгнутой парусом, горы, уже катится вниз багровым шаром, выплескивая алый марганцевый свет на небо и вершины гор.

И носится, как безумный, носится всадник, волнистой дорогой расходится высокое поле, блестит его потное, как лезвие ножа, тело, с каждым нырком в зеленое озеро приобретая зеленоватый, все более плотный цвет, и ходуном ходят бока черного, с прозеленью, коня... Все выше и тоньше звенит над горами крик, и маленькая Верка, не выдержав, выбегает навстречу всаднику... Ее распирает восторг, она кричит, размахивая руками, бежит к нему... Мать хватается за нее, пытаясь зажать рот, крепко перехватив поперек живота... Но темно-зеленый всадник... – а это же дядя Садык, и желтая косынка на его голове – это материна косынка! – мчится прямо на них на огромном черном, с прозеленью, коне, и вот уже вплотную надвигается громада человека-коня, он наклоняется, выхватывает Верку из материнских рук и крепко целует девочку. Станный резкий запах идет от него – смолистый, густой, веселый, ошеломительный запах-дурман. Верка валится к матери на руки, и сразу же вслед за этим наступает ночь...

...Однажды в альбоме у Стасика она увидела репродукцию известной фрески Делакруа «Орфей, обучающий греков мирным искусствам», того ее фрагмента, где человек-конь раскинул руки, опершись на положенный на плечи лук... Она застыла над репродукцией, и весь вечер пребывала в сильном возбуждении, пытаясь вспомнить – где видела это благородное существо в слепящих лучах закатного солнца. И наконец вспомнила, и горный вечер в багровом полыхании заката пахнул на нее слиянным запахом полыни, мяты, Melissa и базилика... и еще одного, терпкого смолистого запаха, стоящего над полем и обнимающего всадника с конем...

– Над чем ты тут зависла? – спросил Стасик, склонившись над ее плечом.

Она помолчала, подняла на него глаза и тихо проговорила: «... а я видела тоже...»

– Что?

Она погладила мелованный лист репродукции и сказала: «Вот, его...»

– Кентавра? – с серьезным любопытством в глазах спросил Стасик. – Где?

– В горах... – пробормотала она, – ты не знаешь... неважно...

Он взъерошил ее короткие волосы, проговорил, улыбаясь:

– Верка! Правильно! Вот это и должно стать твоей манерой!

– Что? – удивилась она. Не поняла – что он хочет этим сказать... И, главное, уже тогда ей не нравилось, что он играет с ней, как с мальчиком-подростком.

– А вот этот... легкий налет безумия... – разъяснил он весело.

* * *

...И ведь это была ее первая победа! Первая победа – и над собой, и над ним, и над вызывающей красотой вороны-воровки с глазами цвета водорослей...

Главное же, это была победа над его костылями, ибо с той минуты, когда она стала всадницей и они обоюдослиянным кентавром неслись по зеленому полю ее детского сна... костыли его просто перестали существовать, их больше не было, как и потом, в картинах, где Стасик всегда присутствовал совершенно здоровым, даже если мелькал в какой-нибудь маске, на заднем плане, полубоком, спиной...

Почему же это воспоминание неизменно сжимало ее сердце? И по странной ассоциации, стоило увидеть ей в кадрах спортивных новостей какого-нибудь пловца, вздымающего победным жестом руки над бортиком бассейна, перед ее глазами возникал Стасик – с мокрыми волосами, с распахнутой грудью, совершенно смятенный...

* * *

...Он мылся, запершись в ванной. Как обычно, горланил с комическим надрывом:

– Сме-е-ейся пая-а-а-ац!

Вера читала и морщилась. Отучить его орать в ванной оперные арии было невозможно, докричаться сквозь шум воды – тоже. Оставалось только ждать и терпеливо выслушивать надрывно-комические вопли.

Судя по всему, сегодня он опять не вернется домой, до утра останется у той, красивой, с мерзким голосом... В такие вечера Вера садилась в кресло с книжкой и принимала глухую оборону – едва отвечала на его вопросы, изображала острое увлечение сюжетом, редко переворачивая страницы. Молча поднимала брови, когда из коридора он кричал что-нибудь шутливо-прощальное.

Вдруг грохнуло в ванной, покатилося... – жестяная кружка, в которой стояли зубные щетки и расчески. Пение оборвалось. Вера прислушалась... вскочила и бросилась в коридор:

– Стасик! В чем дело? – тревожно крикнула она.

Он не отозвался. Ничего нельзя было услышать сквозь шум льющейся воды.

Она стучала кулаком в дверь:

– Стасик! Стасик! Ты меня слышишь?! Что случилось?

Он не отзывался. Упал, поняла она, уронил костыль! не может до него дотянуться! ударился головой... потерял сознание!.. Захлебнулся?!!

Обезумев от ужаса, навалилась на запертую дверь, заколотила в нее, заорала. Колотила и колотила, бросалась на дверь дикой овчаркой – плечом, спиной, выла, визжала...

Вдруг он открыл – бледный, совершенно мокрый, в наброшенном на тело халате. Вода струилась по лицу и волосам... Значит, все-таки дотянулся до костылей.

Вера зарыдала и бросилась к нему, обхватила обеими руками. С его волос вода лилась на ее лицо.

– Ты что, дура, спятила? – спросил он. – Я ей кричу, а она дверь ломает.

– Я... я... не слышала... я испугалась, что ты упал... умер... – дрожа, задыхаясь, вцепившись в него, бормотала она.

Он сердито обнял ее, чмокнул в макушку. – Перестань трястись... Ну грохнулся, подумаешь!.. Хватит реветь, дура, – со мной никогда ничего не случится... Ну... довольно уже! Иди... я оденусь...

Но она по-прежнему, упрямо, как ребенок, обхватив обеими руками, не выпускала его из тесного закутка между ванной и раковиной, притиснувшись щекой к его груди, словно пыталась непосредственно из сердца расслышать ответ, который ждала. Дрожала странной, неостановимой дрожью... И оба молчали...

– ...Ну? – наконец выговорил он, обеими ладонями пытаясь отклонить ее голову. – Я же опоздаю, дурочка...

Тогда она выпрямилась, прямо взглянула в его смятенное мокрое лицо...

– Не пущу!.. – глухо сказала она, чувствуя, как учащенно бьется и его сердце тоже... – Не пущу... к ней... Никогда больше! – и медленно, обеими ладонями раздвинув – как занавес – халат на его груди, пробормотала в его, уже ищущие, губы:

– Кентавр...

... И всю жизнь потом для нее наиболее притягательным в мужчине были плечи и мощный разлет мышц груди (два коротких, бесцветных романа с натурщиками: красота торса попутала, кентавр поманил с вершины холма и исчез... – Стасик, Стасик!..), словно верхняя, духовная половина тела даже в плотской любви была для нее важнее остального... Словно образ кентавра только и мог возбудить, взбаламутить глубинный ветер, уносящий ее в поле дурмана.

* * *

Появился долговязый после смерти Стасика. Буквально недели через три.

– Здравствуйте, Вера. Вы меня, наверное, не помните, я приходил к вам... Я – Леонид Волошин... – и, в замешательстве, видя, что Вера молча стоит в дверях, не приглашая: – Я только сегодня вернулся из командировки, а мы договаривались со Стасом... Он дома?

Вера и прежде-то была немногословна, а после этой смерти совсем замолчала, онемела. Она вообще замолчала – внутренне умолкла. В те дни казалось – навсегда.

– Мне бы повидать его...

Он глядел своими чуть выпуклыми глазами за стеклами очков в большой роговой оправе и ждал ответа. Вера разлепила губы и шевельнула ими.

Он подался к ней, наклонился:

– Простите?

– Стасик погиб. – Сухо и тихо повторила она, как отвечала всей этой орде, которая хлынула на нее и отхлынула, наткнувшись на бесслезное молчание.

Он не отпрянул, не ахнул, не вскрикнул, не стал забрасывать вопросами, вытягивать подробности, не цокал языком, не качал головой. Так и стоял, в полнаклона, вглядываясь в ее лицо. Смотрел с минуту, потом спросил:

– Вы остались одна?

Она пожала плечами. Он прошел мимо нее в квартиру, походил по комнате, мельком оглядывая работы Стасика на стенах. Потом обернулся к Вере:

– На что вы живете, Вера, извините за бестактность? Вам деньги не нужны?

Она мотнула головой и нахмурилась, потому что вдруг ощутила, как запнулось дыхание и сдавило что-то в горле, и на глаза набежала влага.

Сглотнула и, опустив голову, хмурясь и сосредоточенно расстегивая и застегивая рукав рубашки, впервые торопливо и тихо стала рассказывать о смерти Стасика.

Он попал под машину, опаздывал на зачет по истории искусства. Знаете, тот поворот с проспекта Ленина на улицу Германа Лопатина? В акте написано: «Перебегал дорогу в неположенном месте».

– Перебегал? – повторил Лёня, недоуменно подняв брови.

– Да, «перебегал»...

Так, в милицейском отчете, Стасик восторжествовал над своими костылями после смерти.

* * *

...Длинная дорога на загородном автобусе в Янгиюль – куда она ехала «сообщить», потому что невыносимо было представить безмолвно вопящий листок телеграммы в руках его отца (казалось, если – сама, словами, голосом – будет много легче. Пустое, конечно...) – так и осталась самой длинной и самой страшной дорогой в ее жизни.

Через верхние синие стекла полуразбитого автобуса на сиденья било прямое солнце, а небо казалось открыточно, вульгарно синим.

На заднем сиденье трясся веселенький пьяный. Время от времени он доставал из кармана залитых пивом и пропахших мочой штанов пластмассовую свистульку и рассыпал трели, вытаращивая мутные глаза и раздувая колющие щеки. Пассажиры посмеивались с благодушным презрением. Только старик узбек напротив Веры – красивый, белобородый, – молча посматривал на пьяненького свистуна, и во взгляде его читалось столько брезгливой горечи, столько врожденного благородства, столько обиды за унижающего себя и униженного соплеменника, столько холодной гордости... – Вера глядела на его

прекрасное лицо и в этой тряске, столь созвучной отупляющей, душевной ее боли, даже отчета себе не отдавала, что жадно запоминает – как подергивается седая косматая бровь, как взгляд он переводит плавно от окна на пассажиров.

Выцветший поясной платок был обвязан вокруг тюбетейки. А на синем ватном чапане кто-то любовно нашел две аккуратные заплатки: голубую – на рукаве и бирюзовую – под мышкой.

От станции она очень долго шла до дома Германа Алексеевича – сделала круг через базарчик, где инвалид, сидя на спиленном бревне, раздирал баян, выпевая пьяным и плачущим голосом: «Разве ты, разве ты-и-и... разве ты винова-а-ата, что к седому виску-у-у я приставил нага-а-ан»...

У калитки стояла минут пять, и любое движение собственной поднявшейся руки отзывалось внутри ледяным ожогом. Потом решилась: толкнула калитку и ступила во двор, в ласковые мятущиеся блики солнца на желтом кирпиче вымытой с вечера дорожки.

На пустом айване в центре беседки, на расстеленных курпачах, лежала газета, на газете – очки Германа Алексеевича. Из дома в глубине огромного двора доносились голоса, – значит, в гостях здесь самаркандская племянница с дочкой; где-то в комнатах тявкала Клеопатра, и своим проклятым бессознательным зрением, алчно заглатывающим детали, Вера углядела, что дверь с террасы была распахнута, и клином между нею и косяком торчал детский тапочек.

– Вера? Ты что, одна? А художник где? – спросил вдруг Герман Алексеевич сверху. Она вздрогнула и подняла глаза: старик сидел на верху деревянной лестницы, прислоненной к опорам беседки, – в сетчатой майке, в синих бриджах, с садовыми ножницами в руках.

– Не заболел, случаем?

Она стояла, с запрокинутой головой, белая от навалившегося на нее ужаса, и молча смотрела на Германа Алексеевича. И это было страшнее, чем там, в морге, ждать, когда откинут простыню со Стаскиного лица. Господи, что там было «опознавать»! – когда она с порога опознала обломки его изувеченного костыля,

валявшиеся у стены...

На крыльце морга курили и щурились от солнца два разбитных паренька в белых халатах.

Один рассказывал другому какой-то длинный несмешной анекдот, да еще не мог вспомнить последнюю реплику персонажа, в которой, должно быть, и заключалась соль анекдота, и, напряженно морща лоб, щелкал пальцами, приговаривал: ща-ща-ща... щас вспомню...

И только странный, явно сумасшедший человек, обросший буйной черной бородой, снующий вокруг с ведрами и тряпками, был здесь по-настоящему реален и, как сказал бы Стасик, живописен...

В воздухе этого идиллического дворика, во влажной, дышащей земле, вспоротой нежными побегами травы, в чутко вздрагивающих ветвях, вспухших почками будущей листвы, была разлита набирающая силу весна.

Мысль о том, что Стасика нет, в то время как есть и будут эти чуткие деревья, эта рвущаяся к свету из тела земли трава, просыхающие на солнце дорожки из бурого кирпича, – казалась невероятной; мертвый Стасик и сейчас был для нее в сто раз живее двух пареньков, не замечающих грозного соседства весны и смерти.

...Как могла она надеяться – «смягчить»... чем? голосом? – она онемела... Видом своим – этим запрокинутым помертвелым лицом?

– Вера... – осекшись, выговорил старик. Она молчала. Руки висели плетью.

– Он... живой?

Она мотнула головой и выдавила шепотом:

– Поедем...

Тяжело ударились о землю садовые ножницы.

– Помоги сойти, – глухо проговорил старик, лунатически нащупывая перекладину лестницы. Она бросилась, обняла его колени, чуть ли не принимая на себя тяжесть грузного тела, и, когда затряслась и ткнулась подбородком в его грудь, он сказал строго:

– Молчи! Выдь за калитку, жди меня...

Годы спустя, когда на пути в Веллингтон ей пришлось восемь часов куковать на пересадке в Бангкоке, она вспомнила бесконечную дорогу на Янгиюль, и то, как хотелось, чтобы она не кончалась никогда – и мгновенно успокоилась, смирилась: все было легче, чем та дорога. И позже, в Германии, на развод она решилась после одной ночи, которая началась с бессмысленной и вялой ссоры с Дитером, продолжилась бессонницей, а на рассвете – тяжелым забытием, когда, просыпаясь и засыпая вновь, в третий раз она увидела дорогу на Янгиюль и себя, везущую Герману Алексеевичу смерть сына, – в бесконечной тряске на полуразбитом автобусе, под пронзительную свистульку вонючего алкаша. И сочла это окончательным знаком.

И все же перед разлукой они со Стасиком успели вдохнуть весны и даже сделали по этюду.

За последний год несколько раз уезжали так: мгновенно собравшись, поймав попутку, в незнакомом направлении... И, выбравшись из машины где-нибудь в предгорьях Чимгана, расставляли этюдники и писали до захода солнца, не задумываясь – где заночуют.

Однажды всю ночь просидели за разговором в сторожке егеря, который наткнулся на них, голосующих в темноте на дороге, и привез к себе: Стасика на осле, с костылями поперек колен, Вера же еле поспевала следом с двумя этюдниками, и замаялась так, что мгновенно уснула на расстеленном одеяле, на полу, в углу сторожки...

...В ту, последнюю, вылазку они выбрали удачный вид на расходящийся в глубине горный коридор с несколькими одинокими алычами на склонах. Стасик

стоял рядом, тяжело навалиясь подмышкой на костыль, от чего тот уходил резиновым наконечником в мягкую травянистую землю холма, как конь под Ильей Муромцем, и, глядя в небольшой квадрат картона, говорил негромко:

– Утяжелила вот здесь кусок неба с этим кустом... Добавь берлинской синей... А здесь неплохо... Мягче надо сопоставлять желтое с оранжевым, не груби...

Внезапно, как это бывает в горах, началась гроза: дальнейе гроыхание, которое сначала они приняли за тарахтение одинокого грузовика внизу на дороге, пухло взорвалось над самым ухом тяжелой звуковой волной, вмиг натянулось густое черное облако, низкое, как похоронный шатер, и так же, как налетевший вихрь срывает с кольев шатер, так и это облако стало носиться над их головами, роняя панические короткие молнии, – картинно, будто и вправду там, верхом на облаке, сидел некто яростный и азартный, натягивал свой лук и целился, и промазывал, и опять натягивал тетиву, и рычал, и бесился, зверея все больше от неудачи.

Пыхнуло в тишине рыже-фиолетовым, и сразу грохнуло и раскололось вдребезги небо, извергая холодные осколки дождя...

Вера заорала от восторга, Стасик обнял ее и набросил свою куртку ей на голову, как на клетку с попугаем, чтобы тот умолк. Но Вера куртку скинула, и жадно смотрела, как в дымном фиолетовом теле тучи преломляются желтым солнечные лучи, как, ежесекундно вспыхивая, сменяют один другого оптические эффекты.

Стояла, вцепившись в локоть Стасика, чувствуя терпкий страх вперемешку с желанием вспыхнуть мгновенно и чисто и развеяться пеплом над горами...

...Потом, когда туча унеслась, подтерев за собой оранжевое от заката, глянцевоe небо, они долго стояли, совершенно мокрые, в тающей, шуршащей каплями, тишине, среди густого послегрозового запаха трав, наблюдая, как валится за рощу миндальных деревьев воспаленная миндалина солнца...

Вера обернулась и вдруг увидела выгнутую ледяным парусом, ополоснутую марганцевым уходящим светом, гору, которая прежде была под облачным колпаком...

Она стояла и глядела на этот, взрезавший небо, алый парус ее сна...

– Вон там... – сказала она, указывая рукой, – внизу, на склоне холма... поле с высокими-высокими травами... Помнишь, я говорила тебе?

Стасик удивленно смотрел на лунатическое выражение ее глаз...

– Давно, в детстве... Как сон... Голый всадник на потном коне... въезжал с одного края поля и выезжал на другом, разворачивал коня и снова въезжал, как в море... Волны над головой... Желтый платок на зеленых волнах... – Она морщилась, силясь вытянуть реальность за кончик хоть какой-нибудь приметы. – Или мне снилось?

– Так вот оно что... – медленно проговорил он. – Вот он откуда взялся, твой кентавр...

Обнял, тихо, томительно ощупывая губами ее, влажные от дождя, губы... И долго они стояли так, озябшие, среди мокрой травы, осторожно грея друг друга губами, словно вызывая, продлевая удивленную нежность того вечера, случившегося всего три месяца назад...

– Знаешь, что ты видела? – спросил он, наконец оторвавшись от нее. И в глазах его было то самое, любимое ею, выражение веселого любопытства:

– Охоту за гашишем...

Тем вечером их подобрал на шоссе и пустил переночевать к себе – он жил в соседнем кишлаке, – молодой уйгур на побитом и замызганном «москвиче».

Накормил их пылающей перцем жирной шурпой, выдал целый тюк пахнущих дневным солнцем курпачей, – и всю ночь, на балхане его дома, где на расстеленных мешках вдоль стен пестрым ковром лежали сухофрукты, они неслись обоюдослиянным кентавром, совсем близко к громадным дрожащим звездам, перегоняя какое-нибудь созвездие Стрельца...

* * *

...Все остальное – мерзлое помещение морга, где не раз они оба бывали на занятиях в «анатомичке», – столы, и то, что было на столах... не имело к Стасику никакого отношения.

И позже Вера никогда об этом не вспоминала. Это отпало, отвалилось от нее, как корочка-нарост на зажившей ране. Чем больше месяцев и лет проходило после его смерти, тем радостней и живее было думать о Стасике – о сильном, очень сильном человеке на костылях.

Самое удивительное, что в снах он всегда приходил к ней на здоровых ногах. И в ответ на ее радостный вскрик уверял, что совсем уже выздоровел, а как же, тут все здоровые, не то, что вы там... Откидывал полу халата, демонстрируя сильные ноги спортсмена... – «Потрогай мускулы!..» – весело приглашал он... Сердце ее колотилось, она тянула руку туда, где... теплая, теплая атласная кожа наливалась округлым пульсирующим восторгом... – она взлетала всадницей, и они мчались, мчались, загоня друг друга, пока спазм мучительного наслаждения не будил ее...

И тогда до утра она сидела на кухне, выкуривая одну за другой полпачки сигарет, думая о нем и твердо зная, что он продолжает любить ее там, где все мы здоровые и веселые...

* * *

Тем первым вечером без Стаса Лёня сидел недолго, больше молчал, рывком поднимался с табурета и молча мерил длинными своими ногами комнату.

– А это чьи работы? – вдруг спросил он, как очнулся, перед двумя небольшими натюрмортами: две картонки были записаны утром и днем, когда свет по-разному перебирал складки платка на спинке стула и, как опытный сладострастник, ласкал керамический чайник то справа, то слева...

– Мои... – отозвалась она...

– Ваши?! – быстро обернулся на нее, озадаченно долго смотрел на вихрастую «дикую» стрижку, на клетчатую, мешком висящую на ее тощих плечах, рубаху Стасика... С нажимом переспросил: – Ваши?

И она поняла его вопрос, и совсем не обиделась. Просто объяснила:

– Стасик никогда не лезет в чужой холст...

Уходя, он не обещал прийти снова. Но этим вечером Вере уже не было так тяжело: словно вены отворили, давая выход скорбной бурой крови...

Лёня появился на другой день. Стоял на пороге, улыбаясь, придерживая за отворотом пиджака что-то копошащееся.

– Вера, извините, ради бога, если некстати. Вот, подобрал тут одно погибающее насекомое...

Достал и протянул на ладони дрожащего слепого пiskuна-котенка.

– Ой, комарик какой, – удивилась Вера. – Что с ним делать?

– Для начала – подарить жизнь...

Разыскали в доме пипетку, подогрели молока. Котенок цеплялся когтями за пальцы, разевал крошечную ребристо-розовую пасть и, похоже, не умолял о жизни, а требовал ее. Выяснилось, что у него сломана лапа. Сделали шину из обломка карандаша, расщепленного вдоль. Ковыляя, он чем-то напоминал Стасика.

Когда же, через пару недель, продрал глаза, то в полной мере обнаружил свой высокомерный нрав. Вера назвала его Сократусом.

– Вот Сократ утверждал... ты знаешь, кто такой Сократ, Веруня?

– Ну... он... был грек? И его свои же отравили этой... цукатой?

– Ци-ку-той, Веруня, цикуттой... Там, с Сократом, было так... я тебе сначала о нем, потом – почему и за что его помнят...

– Дядь Ми-и-иш...

– Нет, ты послушай, Верунь, в жизни пригодится! Пригодилось...

Кот быстро вырос в сытого холеного барина, пепельного, с платиновыми зализками на брюхе, с холодными, как два топаза, глазами. Судя по всему, считал, что все ему обязаны своим существованием. Когда в дом заходили незнакомые люди, обыскивал дамские сумочки, брошенные на пол в коридоре, инспектировал мужские ботинки, – вообще, проверял народ на вшивость... Лёня в то время был уже в доме своим

9

«... – Вот ты говоришь – послевоенный Ташкент... Кто что, а я первым делом вспоминаю тележки с газированной водой: примитивные тачки на колесах, с небольшим навесом... они спасали в летнее время от жары и жажды тысячи ташкентцев... Там еще была забавная система мытья стаканов: легкий поворот рычага, перевернутый стакан полощется под сильной струей воды... Затем в него из стеклянного цилиндра cedят немного сиропа, того, что ты выбираешь, и сразу вслед – просто чистая вода под газом... И это так весело шипело, вскипало к краям... Помнишь эти тачки? В детстве ты выбирала всегда „крюшон“ – темно-красный сироп...

– Слушай, пап, а это правда было, или только моя фантазия: за этими лотками сидели еврейские старики, причем одного типа, причем парой, он и она?...

– Да-да, точно: она, одетая в какие-то шматы, и поверх белый фартук, обычно отпускала. Он молча сидел на табурете чуть в стороне...

– Сейчас бы их назвали еврейской мафией...

– Тогда тоже изгалялись, кто как мог... Обычно эти старички почти не разговаривали. Спросит тебя – какой сироп, даст сдачи, пей и иди своей дорогой... Иногда между собой пробрасывали несколько слов на идиш... пока кто-нибудь не подходил...тогда умолкали... Где они качали эту воду для полоскания стаканов целыми днями, откуда брали лед – ума не приложу! И стаканы, заметь, были чистыми, и заразы никакой не прилипало... Да... Потом эти будки постепенно исчезли с улиц. Их заменили автоматы, которыми редко можно было пользоваться, – из них всегда пропадали стаканы...»

* * *

На трамвайной остановке, перед тем как завернуть в свой переулок, Катя каждый вечер выпивала стакан газировки у Цили-Квашни. Цили сидела за своим лотком под грязно-полотняным тентом, глядела на мир из-за цветных цилиндров с сиропом и комментировала происходящую вокруг нее жизнь. Цили была одесситкой, эвакуированной в Ташкент во время войны. Здесь и осела, за этим вот лотком с мокрыми медяками.

– Дама, шо вы мимики делаете, у вас же весь газ выйдет! Кому не сладко? Вам? А вы за копейку сладко захотели? Шо вы уставились, гражданин, я похожа на вашу покойную мамочку? Шагайте себе по жизни дальше. Какую копейку? Кто не додал? Я?! Боже ж мой, он без твоей копейки умрет, а! Да я всю выручку дам сейчас в твою морду, вместе с тою копейкой! Я тебе материально обеспечу. Я тебе сиропом умою! На, подавись тою копейкой, положи ее в Швейцарский банк! Но я тебе ее не дам!..

Вокруг Цили, на пятачке асфальта с подтеками и лужицами слитого сиропа, всегда бурлила жизнь и толпился народ. Подходили, звякая, душные трамваи, народ вываливался из дверей и устремлялся к Циле за шипучим глотком воды.

Цили глыбой сидела за лотком – царица Савская, вдоволь хлебнувшая жизни, этой водицы с горькой и грязной пеной. Старший ее сын погиб под городом Брно, младший умер от тифа уже в Ташкенте. С отчаяния, на исходе женского возраста родила она себе от пожилого и лысого, да и женатого, святого духа – (имени никогда не называлось, упоминались только два эти обстоятельства: подкисший возраст и лысина), двойню – Вовку и Розку. Часто они прибегали к

матери на остановку – разгоряченные, с потными лбами, наперебой что-то рассказывая. Бывало, стоят по обе руки от матери, мальчик наливает в стаканы газировку, девочка дает сдачу – отсчитывает и подвигает мокрые медяки тонким пальчиком.

Циля в это время, не торопясь, подробно расчесывала гребнем свои густые, с проседью, волосы. Шпильки держала во рту, сквозь зубы, подсказывая девочке сдачу. Наконец закручивала на затылке крепкий ярко-седой кулак, всаживала в него гребенку.

Был у Циля коронный номер на публику. Наливала она три стакана: два чистой, один – с сиропом. Выстраивала их рядом и, обводя всех вокруг томной бровью, строго спрашивала детей:

– Кому с сиропом?

Те отвечали нараспев, хором:

– Ма-а-амочке!

Позже дети выдували по три стакана с сиропом зараз, но в момент исполнения «номера» – как преданно глядели они на Цилю, как стояли солдатиками, вытянувшись под материнским взглядом!

Катя много раз наблюдала «номер». Вообще она любила постоять возле лотка, поболтать с Цилей-Квашней. Та сидела в крепдешиновой блузке с закатанными по локоть рукавами, одной рукой ловко крутила на мойке стаканы, другой отсчитывала медяки. Осы гудели под тентом, облепливая цилиндры с сиропом...

– Катя, шо слышно? – лениво спрашивала Циля. – Шо ты имеешь на этой своей кенафной фабрике? Дружный коллектив и добровольных свидетелей? Слушай, дай я устрою тебе точку на Алайском. Будешь сидеть как человек, в центре жизни, знать международную обстановку. Будешь иметь немножко честных денег...

Катя отнекивалась, скрывала от Циля, что немножко «честных денег» она из своей кенафной фабрики потягивает. А сидеть за лотком, стаканы вертеть да ос

отгонять – нет уж, Циля, не для медяков я дважды выжила. Играла уже в ней, играла эта натянутая струна: вырвать свой кусок у жизни, хоть из горла чьего бы то ни было, хоть из брюха уже!

Однажды Циля заметила, небрежно оглядев Катю с ног до головы:

– Иметь под боком Семипалого и носить такие босоножки?... Катя, мне смешно и больно это видеть.

– При чем ко мне Семипалый? – Катя пожала плечами. Циля усмехнулась и сказала загадочно:

– При чем мужчина к женщине...

Будто знала наперед, чертовка. Да что – Циля! Это часовой механизм судьбы сработал так точно, словно Семипалый собственноручно отладил его своею клешней.

* * *

Однажды поздней осенью подмороженным, седым от снежной крошки переулком Катя торопилась к трамваю. Осторожно семенила по тротуару быстрыми мелкими шажками. Стертые подошвы туфель скользили, разъезжались, дважды она чуть не упала. Как раз сегодня собиралась купить новые теплые боты, которые уже присмотрела в магазине на Первомайской, но не успела – на фабрике проводили профсоюзное собрание, попробуй не явись.

Знобящий сырой вечер набухал теменью, в переулке шмыгали редкие прохожие.

Вдруг неподалеку невнятно и злобно крикнули, прямо на Катю выбежал из-за угла длинный и колеблющийся, словно водоросль, тип, с возбужденно вытаращенными глазами, и крикнул непонятно кому за Катину спину:

– Доп'осился-таки, сука! Доп'осился!

Катя шарахнулась к стене дома – это была типография – и оглянулась: шагах в двадцати, почти у подъезда типографии, стояла, рокоча, черная «эмка». Длинный и бежал к ней. На ходу сорвал с шеи шарф и, судорожно запихивая его в карман пальто, крикнул еще раз кому-то в машине: – «Доп'осился, сука!» – рванул дверцу и повалился боком на заднее сиденье. Машина развернулась и поехала вниз по переулку.

Ничего не понимая, Катя свернула за угол типографии и угодила в драку. То есть сначала показалось, что в драку: сипящую, хрипящую, скулящую. Потом выяснилось – просто били человека. Вернее, добивали: он лежал навзничь на асфальте с закрытыми глазами и кроваво скалился, отчего казалось, что он улыбался. Кровь заливала глаз, щеку, подбородок, стекала под голову. Его остервенело бил ногами невысокий крепыш в меховом полушубке. От каждого удара лежащий постепенно съезжал, как кусок студня, по скользкому наклону тротуара к арыку.

Крепыш в распахнутом полушубке здорово трудился – из распыленного рта валил пар. Он крикал, хрипел, скулил при каждом ударе. Очень жалобно скулил, словно ему было жаль лежащего.

Женский голос из темноты истерично выкрикнул:

– Сво-ло-очь! Что ж ты брата убиваешь! Милиция! Да кто-нибудь, – милицию, Господи!

От женского голоса стало совсем тошно. Брат – так выходило – убивал брата. Катя прижалась к дощатой стене какой-то будки. Надо было проскочить между будкой, притулившейся к стене типографии, и арыком. Но убитый – или живой еще? – съезжал под ударами прямо к арыку, туда, где стояла Катя. Теперь она ясно видела искаженное страданием, озверелое лицо стонущего при каждом ударе крепыша, и мотающуюся по асфальту, оскаленную в кровавой улыбке, маску убитого. В этом был ужас – они будто поменялись местами. Убитый – или еще живой? – был вроде удовлетворен происшедшим, – «допросился, сука!» – вспомнила Катя крик длинного... К ногам ее подкатилось что-то мягкое, круглое, словно живое существо искало у нее защиты. Шапка – не столько увидела, сколько поняла она в темноте.

Тут хлопнула дверца будки, и спокойный, хрипловатый голос произнес с растяжкой:

– Не увлекайся, Жаба. Хорошего понемножку.

И сразу на соседней улице засвиристел милицейкий свисток, затарахтел мотоцикл.

Крепыш подобрался, вытянул шею, определяя ситуацию, потом легко метнулся вверх по переулку, перемахнул через турникет на остановке трамвая и сгинул в темноте.

В это мгновение Катю цепко схватили за руку и, приговаривая – «Ай-яй-яй, ужас какой, что делается!» – заволокли внутрь дощатой будки. Там с потолка на длинном шнуре свисала лысая лампочка слабого накала, но и в этом слабом свете Катя вдруг – по руке – узнала человека со спокойным, в растяжку, голосом. Это был Семипалый, так его все называли, а вообще – Юрий Кондратьич, сын бабы Лены, хозяин второй половины дома. Будка, вероятно, была его часовой мастерской. Это же надо! – столько раз проходила Катя мимо будки на углу переуллка, и не знала, что здесь Юрий Кондратьич работает. Впрочем, она и самого его почти не знала. Иногда кивала, если приходилось сталкиваться во дворе.

– Ай-яй-яй, звери какие, не люди! – повторял он между тем, быстро убирая что-то на столике. – Посидите, отдышитесь... А я вижу – девушка стоит, лица на ней нет. Небось всю драку видела, а? – он участливо повернулся к ней, вдруг узнал, запнулся на мгновение и – заулыбался:

– Да это же соседка моя! Ира? Люба?

– Катя... – пробормотала она с облегчением.

– Что ж ты здесь делала, Катя-Катюша? А? Стоит, бледная, – в стенку вжалась...

– Я домой шла...

Между тем доносились с улицы возбужденные голоса. Всхлипывала женщина, кто-то строгим голосом распоряжался. Взывала сирена «скорой помощи».

– Да ты садись, Катюша, садись, – пододвигая ей шаткую скамейку, приговаривал Юрий Кондратьич – как-то здесь, вблизи, не получалось даже мысленно называть его кличкой. Была во всем его облике какая-то уважительная мужская статья. А еще – Катя остро это чувствовала – еще он излучал опасность.

Вдруг взял Катю за руку, на которой были застегнуты часики – гордость ее, недавняя покупка, – поднес к уху и вслушался.

– А часики-то барахлят! – подмигнул. Одним движением отстегнул и положил на стол. Надвинул на левый глаз перевернутый картонный стаканчик с линзой, вправленной в донце, подтянул на затылок резинку, охватывающую голову, и склонился над столом.

– Они хорошо ходят! – угрюмо возразила Катя. Тогда сидящий спиной к ней Юрий Кондратьич сказал негромкой жесткой скороговоркой:

– Вот что, Катя. Ни мне, ни вам милиция не нужна. Правда? Сейчас сюда зайдет милиционер. Так вы – клиентка, зашли часики починить. Мы с вами здесь уже полчаса сидим, шум слышали, но ничего не видали – выходить побоялись.

Он обернулся. Жутковато плавал мохнатой медузой глаз его в линзе картонного стаканчика.

– Ведь мы с вами не вояки, правда? Вы – девушка, существо робкое. Я – инвалид, – он приподнял левую, перебинтованную ладонь с двумя уцелевшими пальцами, большим и указательным. Рука была похожа на клешню.

Кате стало зябко, все перемешалось: длинный тип, бегущий на нее в яром азарте, кровавый оскал избиваемого, «допросился, сука!» – и вот это, спокойное – «Жаба, не увлекайся!»... Неуютно было под линзовым глазом морского чудовища, и она вдруг поняла со всей ясностью, что уж ей-то и в самом деле милиция вовсе не нужна.

– Часы только не попортьте, – сказала она хмуро. Семипалый расхохотался.

Дня через два, вечером, накануне ноябрьских праздников Юрий Кондратьич вдруг появился у бабы Лены. На Катиной памяти это было впервые.

Она сидела у себя за занавеской, штопала чулок и слушала повизгивание и поскуливание, а время от времени – шлепки и яростное пыхтение, – Колян и Толян делали уроки. Когда приготовление уроков принимало слишком уж безобразные формы, бабка Лена вскрикивала грозно: «А ну! Вот сейчас мать зайдет!» – но стоило бабке на минуту выйти из комнаты, внуки принимались яростно материться шепотом – думая, что Катя не слышит.

В такой-то момент дверь бесшумно распахнулась, и уже знакомый, врасстяжечку, голос произнес ласково:

– Ай, красота! Что умолкли, птенчики? Валяйте дальше, пока бабка во дворе.

Вслед за этим последовали два звонких сухих шлепка, вытье племянников и грохот падающих стульев. Это Толян и Колян разлетелись по углам от двух полновесных затрещин. Катя испуганно выглянула из-за занавески.

Семипалый принарядился. Костюм на нем был черный, бостоновый, сорочка белая, наглаженная... Это интересно, кто ж ему так чисто стирает? – и выглядел он гораздо моложе, чем накануне в будке. Пожалуй, больше тридцати пяти ему сейчас не дать. Да, если приглядеться к нему как следует, – Семипалый мужик видный. Глаза только странные, опасные такие глаза, обманчивые, – веки ленивые, припухшие, а серая радужка зрачка заключена в четкий черный обруч, и цепким гвоздиком вбит зрачок. Вскинет Семипалый веки и насадит тебя на острие зрачков, словно букашку.

– Как часики идут, клиентка? – спросил он Катю приветливо, подошел и, неожиданно склонившись, так что волосы рассыпались на пробор, поцеловал ей руку. В Кате все обмерло и горячим гулом обдало сердце – ей никто еще не целовал руки, и вообще такое шикарное обхождение она только в заграничных фильмах видела, в летнем кинотеатре, в ОДО.

Вдруг разом она вспомнила: о Семипалом рассказывали легенды, Циля говорила, что Семипалый «миллионщик»...

– Пройдемся? – спросил он. – Погуляем.

Катя собралась отказаться как отрезать, и одновременно кинулась за занавеску, схватила блузку, юбку, увидела, что пуговицы на поясе не хватает, разозлилась и, с колотящимся сердцем, принялась судорожно пришивать пуговку, укалываясь нервными пальцами об иголку.

Вошла бабка Лена и оторопела, увидев сына. Очень редко заходил сюда Юрий Кондратьич. Бабка засуетилась, не зная – что сказать и как быть. Не знала, по делу зашел сын, или как...

– Юра, может, выпьешь? – наконец робко предложила она.

– Нет, я сегодня не пью, – насмешливо, громко сказал он... – Завтра ведь праздник... Такой большой праздник завтра, а у меня во рту будет плохо... Куда это годится... – И ясно было, что он насмехается, а вот над кем – непонятно. То ли над матерью, то ли над Катей...

На минуту в комнате повисло тягостное молчание, только Колян и Толян сопели за столом, старательно уткнув прыщавые физиономии в учебники.

Потом бабка решилась:

– Юра, сынок... Лиде бы помочь маленько... Ведь из сил выбивается...

– Хватит! – оборвал он ее тихо и жестко. – Слышать об этой кобыле не желаю...

Катя вышла из-за занавески. Юрий Кондратьич поднялся, распахнул перед нею дверь и молча пропустил вперед. На мать не оглянулся. Баба Лена так и осталась сидеть с оторопелым лицом.

На «Тезиковку» ходил десятый трамвай, по воскресеньям набитый людьми до того предела, когда сдавленная чужими локтями и спинами грудная клетка выдыхает задушенный стон, когда тебя вносит и выносит из трамвая на чьих-то плечах и спинах; толпа выдавливается на остановку, как повидло из пирожка.

Так добирались до знаменитой толкучки на Тезиковой даче. Вроде был такой купец до революции – Тезиков, вроде дача у него была в тех местах. Хотя, как считала Катя, – незавидное место для дачи: кривые глинобитные улочки, обшарпанные ду-валы, железнодорожные пути... Словом, «Тезиковка»...

Ехать долго, мучительно. Летом – духота и тошнотворно тяжелый запах пота и кислого молока, которым узбечки моют головы. Зимой – мерзлые окна, воняет мокрыми овчинными воротниками, не пробиться через заграждения ватных спин.

Кондукторши со своими кирзовыми сумами на животах как цепные псы: проходит кампания по борьбе с паранджой, и велено не пускать в городской транспорт представительниц средневекового мракобесия.

– Куда прешь, в парандже?! – орет кондукторша скрюченной старухе. – Не пускайте ее, граждане! Пусть сымает!

Граждане улюлюкают и гонят старуху, но уже на ходу, когда вагон судорожно дергается, как прирезанная овца, кто-то подхватывает семидесятилетнюю, с отсталыми взглядами, опу, и подпихивает в спину, вминает, втискивает в толпу на задней площадке. Кампания кампанией, а всем до «Тезиковки» надо.

Карманники – по два-три в каждом трамвае – работали на площадках: так легче уйти, спрыгнув на ходу.

Нюх у Кати на карманников был поразительный. Она определяла их мгновенным и острым, собачьим, чутьем. Узнавала по скользящему взгляду и праздным рукам. Самой себе удивлялась, до чего точно определяла, и опять же, самой себе не призналась бы – каким таким способом. А просто: представляла, что она-то и есть воровка, и ей-то и надо сейчас нащупать гуся пожирней... Ощущала

так явственно, что, бывало, рука уже тянулась к карману притиснутого к ней соседа, про которого она почему-то знала, что деньги там есть...

Сама-то она держала деньги в надежном месте – в лифчике, да еще в платочке носовом, заколотом булавкой, – попробуй достань!

Вывалишься с толпой на конечной, перейдешь по деревянному мосту через Салар, тут тебе сразу и толкучка – начинается прямо на железнодорожных путях. Торговали здесь всем, кроме мамы родной...

Уже перед полотном стояли рядами бабы, держали товар на руках или на земле, на расстеленной газете... Ряды пересекали железнодорожное полотно и тянулись влево, туда, где кипел муравейник базара. Громадная асфальтированная площадь с утра была запружена людьми – все толкались, пробивались, искали в месиве толпы протоки, по которым можно протиснуться вглубь, дальше, в шевелящуюся, торгующуюся, матерящуюся кашу.

Площадь разворачивалась сразу за длинным, давно заколоченным дощатым ларьком «Овощи и фрукты».

За ларьком Катю ждали. Если не ждали, то она прогуливалась туда-сюда вдоль крашенной давней зеленой краской стенки ларька со скучающим видом.

На самом деле предстоящее волновало ее. Катю всегда волновал риск, да и кроме риска, было в том, что предстояло ей, нечто особенное, чего не могла она назвать, но ждала с нетерпением. Странно: в такие минуты ей казалось, что на нее смотрят. Кто? Почему? Неясно и необъяснимо, но – смотрят с интересом и затаенным дыханием. И она вольна держать этот интерес, ни на минуту не ослабляя усилий.

Вот выныривал из толпы Слива – маленький, злой, сутулый, с действительно налитым, как слива, фиолетовым носом – юркий и неутомимый жулик. Они молча переглядывались с Катей. Осмотревшись мгновенно – как сова, – повернув голову вокруг шеи, Слива беглым движением совал ей в руку тяжеленькое, круглое, в носовом платке, и нырнул обратно в кишачий муравейник.

Теперь надо было пробиваться за ним; Слива приводил ее на место, где должен был разыгрываться спектакль, – и Катя пробивалась, огрызаясь и с

остервенением отпихиваясь локтями, стараясь при этом держать в поле зрения тощую сутулую спину Сливы, ни на минуту не отпуская в себе то самое чувство: она в центре внимания, и должна во что бы то ни стало доказать, что этого внимания заслуживает...

Пробившись до часовых рядов, Слива еле заметным кивком указывал Кате место между какой-нибудь старухой, продающей по бедности часы с кукушкой, и пожилым барыгой в пестрых шерстяных носках, вдетых в остроносые узбекские ичиги.

И для Кати начиналось то самое.

Тут надо было за секунду другим человеком стать! Катя надвигала на лоб косыночку, и – нет, не прикидывалась, – она становилась растерянной неопытной девочкой, которую пригнало на проклятое торжище крайнее горе.

– Здесь... не занято... рядом? – робко спрашивала она старуху. – Можно, я тут постою?

– Чё ж... стой себе на здоровье, – охотно отвечала старуха, – всем продать надо...

Разные, впрочем, попадались люди. Бывало, что и гнали, конкуренции боялись. У всех здесь был товар один – часы. Всякие часы – от бытовых рабочих будильников до напольных, старинных, в часовенке из красного дерева, уютно домашних, с боем.

Катя специализировалась на карманных и ручных, которые друг другу тоже были – рознь. Например, репетитор от «Павла Буре, поставщика двора Его Величества» – часы карманные, машина с цилиндрической системой, крышечку нажмешь, она отскакивает, и такая небесная музыка перебирает твою душу по струночкам, что слезы наворачиваются на глаза! Эти не самые дорогие, но самые эффектные. А то бывают морские, водонепроницаемые, с черным циферблатом и фосфорными стрелками.

Дороже всех ценились трофейные, швейцарских знаменитых фирм – «Омега», «Лонжин»...

Катя разворачивала платочек, и – снопами фиолетовых искр – брызгала под солнцем тяжелая луковица золотых карманных часов. У старухи справа и барыги слева аж дыхание занималось – так сверкали часы красноватым золотом! Разглядывали искоса, восхищенно цокали языками.

Вот она наступала, вдохновенная минута: отчаяние – живое, настоящее – накатывало к горлу, глаза наполнялись слезами и слезы катились по лицу, падая на искрящуюся луковицу часов.

– Мамочка, мамочка... – глухо бормотала, пристанывала Катя. – Знала бы ты, что я дедовы часы продаю... Господи, знала бы ты...

А ведь у папы и вправду были такие часы, он говорил, от отца, – с ветвисторогим оленем на серебряном исподе, с маленькими буквами по кругу... Их мама сменяла на муку в первые же дни блокады. Проели дедовы часы все вместе, тогда еще полной, живой семьей...

– Э, милая, – вздыхала старуха, – все мы тут не с радости...

– Мама умерла... – сдавленным голосом, всхлипывая, говорила Катя. – Похоронить не на что...

Серый барыга сочувственно качал головой.

– Если не продам сегодня... не знаю... руки на себя наложу!.. – с отчаянием добавляла Катя. Она не притворялась; она верила и мысленно представляла маму, их квартиру на Васильевском; все перепутывалось – мама-то умерла, но не много лет назад, а вчера, и похоронить не на что, да и кто кого сейчас хоронит? Дай бог доволочь санки до эвакогоспиталя и оставить, а Саша, он же там работает – Саша сделает все что надо... Мама очень мучилась последние дни, она совсем не могла терпеть голода. Голод не все могут терпеть – это Катя давно поняла. Нужна такая особенная злость, чтобы вытерпеть. А то вон, дружок и сосед, Сережка Байков из сорок пятой квартиры, перед смертью отъел себе четыре пальца до второй фаланги... А второй Катин брат, Аркаша, ему двенадцать было, он из горчицы наладился оладьи жарить, так ее ж надо долго выпаривать, а он не дождался... Прямо так, соскреб всю со сковородки, и съел. И, видно, нутро у него сожгло. Он заперся в туалете, дико кричал. Саша с

Володей вломились туда, подхватили его под руки – он ноги поджимал, кричал – и поволокли по коридору в комнату, уложили на кровать. А мама пришла с работы, ушла в другую комнату, легла и заснула – даже не подошла к Аркаше. От голода оцепенение такое наступает... Ну, Аркаша еще промучился до вечера – сначала кричал, потом тоненько так, нечеловечески скрипел... Потом освободился, умер...

Слезы лились, не переставая. Катя не знала – как это объяснить, но она вдохновенно плакала настоящими слезами о своей судьбе только здесь, работая. Никогда – наедине с собой.

Часы-то были не золотые, конечно, серебряные, но виртуозно позолоченные Семипалым, а проба она проба и есть – кому надо, смотрите: вдавленные крошечные цифирьки. Кто там их разберет без лупы!

Тут появлялся Слива, приценивался, крутился рядом и опять пропадал. Затем возникал Пинц – длинный, в сером пальто, на шее тот же красный шарф.

– Что вы, к'асотка, этим часикам тыща – к'асная цена!

– Бессовестные! – негодовала старуха. – Звери! Барыги проклятые! Так и норовят обобрать.

Катя с заплаканным кротким лицом твердо стояла на своем.

Пролог был окончен. Начиналось действие. Слива и Пинц кружили по толкучке, выбирая жертву. Искали фраера.

На базар по воскресеньям приезжали пригородные. Продавали мясо, фрукты, мед со своей пасеки. Заколот, скажем, хозяин кабанчика, привез продать на «Тезиковку». Часам к двум, глядишь, расторговался. А теперь, с выручкой, можно и по толкучке пройтись – мало ли чего домой купить нужно. Вот такого-то фраера с мощной выбирали Слива и Пинц. Подходили невзначай, сзади, спорили возбужденно, как бы между собой:

– Рома, беги сейчас же к Юрькондратьичу, займи еще тыщу. Этим часам цены нет! Им цена десять кусков, а она три просит. За два отдаст!

Заинтересованный фразер оглядывался. Слива и Пинц, заметив его взгляд, понижали голоса, отворачивались. Затачивали жертву в сети.

– А где она? – лениво спрашивал Пинц.

– Вон стоит, возле старухи в черном платке. В косыночке, видишь? Совсем зеленая, ничего не понимает. Вроде, от нужды продает. Беги к Юрькондратьичу, слышь?

Фразер, не подозревая, что на его бумажнике затачивается петля, оборачивался туда, где стояла тоненькая растерянная Катя. Часы сверкали на солнце, манили, обещали неслыханную выгоду. И фразер устремлялся в сторону беды своей. За ним, едва поспевая и переругиваясь, шли Пинц и Слива.

Пинц играл ленивого нерадивого барыгу:

– Да б'ось, шо мы, часиков не видали.

– Идиот! Говорю тебе – все камни бриллиантовые! На Карла Маркса в закупочной мы сразу десять кусков имеем!

Фразер накалялся до температуры, нужной обеим сторонам для сделки. Он брал часы в руки, щупал их тяжелые круглые бока. Часы ослепляли.

– Молодой человек, вы не сомневайтесь, это дедушкины, все, что от мамы осталось. Я только с горя продаю! – вдохновенно и печально говорила Катя. – Похоронить не на что... Здесь барыги рыщут, я их боюсь, они за копейку готовы горло перегрызть...

– Сколько хотите? – неуверенно спрашивал фразер, лаская пальцами золотые бока луковицы.

– Я три хотела. Но вам, может, за две с половиной отдам... Горе у меня...

– Девушка, ну что – за полторы отдадите? – совался сзади Слива.

Катя страдальчески морщилась. Слива плохо играл – вот что ее раздражало. Мысленно она не называла это словом «играет» – просто плох был Слива, многое портил. Хорошо, что фраер ничего уже не замечал в азарте торговли.

– Дороговато, а? – просил он, не выпуская часы из рук. Они уже полюбились ему, он уже знал, что купит их, только торговался для совести – чувствовал, что Катя может уступить еще чуток.

– Ты гляди, на ком наживаешься! – сурово замечала старуха фраеру. – У девчонки горе, мать померла. А ты последнюю шкуру торгуешь! (Вот это приводило Катю в особенный восторг – когда в орбиту ее игры поневоле вовлекались посторонние, становясь статистами, подвластными ее замыслу.)

Тут появлялся Пинц, и это было кульминацией всей сцены. Пинц вынимал пачку сторублевых из внутреннего кармана пиджака и, треща купюрами, протягивал их Кате поверх головы фраера.

– Ладно, к'асотка, бе'ем за две, – весело и окончательно решал он. – Больше никто не даст.

– Э! Куда прешь! – вскидывался возмущенный фраер, сжимая часы покрепче. – Я раньше купил! – и умоляюще заглядывал Кате в глаза. – Девушка, две триста, а?

– Ладно, – измученно соглашалась наконец Катя. И молча, отрешенно глядела, как, заворотя полу пиджака, фраер сопя отсчитывает деньги... Зорким боковым зрением отмечала, что Слива и Пинц, разочарованно матерясь, уже растворились в толпе. Пересчитывать деньги ей не требовалось – Катя обладала поразительной способностью мгновенно оценивать по весу количество денег в пачке. Аккуратно, не торопясь, под сочувственными взглядами старухи, она заворачивала деньги в платочек, совала поглубже за пазуху и, сердечно попрощавшись, уходила.

Впрочем, отойдя шагов на двадцать, уже отчаянно орудовала локтями, пробиваясь к ларьку «Овощи и фрукты», где ее ждала рокочущая мотором, вся помятая черная «эмка».

Фраеру, между тем, не терпелось показать часы специалисту, чтоб еще кто-то, беспристрастный, оценил их и подтвердил, что покупка чертовски выгодна.

У входа на базарную площадь лепилось несколько часовых будок, где за червонец можно было получить любую консультацию. Туда и спешил фраер и через минуту уже выслушивал от нелицеприятного специалиста все сведения о чертовски выгодной покупке. Часы, конечно, неплохие, серебряные, механизм подержанный, но идут неплохо. Цена им – рублей триста, триста пятьдесят... Как вы сказали? Бриллиантовые?! – часовщик изумленно-весело оборачивался к своему напарнику: – Ты слышишь, Фима, – бриллиантовые камни! Голубчик, я таких не встречал. Фима, а ты? Вот видите, и Фима не встречал...

В смертельной ярости, как раненый гладиатор, фраер бросался назад.

– Где она?! – рычал он, наводя ужас на невинную старуху. – Где-е?! – и грозил разметать товар грошового барыги, хлам на расстеленной газетке, – побитые циферблаты, треснутые корпуса. Ему испуганно указывали направление, в котором ушла девушка.

И долго еще метался незадачливый фраер по бурным волнам толкучки, в бессилии и праведной ярости, как погибающий фрегат с обломанными снастями...

* * *

– Артистка! – восхищенно бросал Слива, когда Катя садилась рядом с ним на переднее сиденье. – Чиста-сливочна-масло!

– Давай, крути! – сухо отзывалась она. Ее раздражал Слива, раздражал Пинц. Непонятно – на что они сдались Семипалому, дармоеды чертовы. Разве что подкармливать от щедрот.

Катя вообще считала, что прекрасно бы справилась сама. Она да Семипалый – а больше никого и не нужно.

Проехав «Тезиковку», вокзал, район Госпитального рынка, Слива останавливал машину на Саперной, где-нибудь в укромном дворике.

– Давай, – говорил Слива, деликатно отворачиваясь и сплевывая через окно машины. На заднем сиденье нетерпеливо ерзал Пинц. Доли своей дожидался, водоросль зеленая. А за что, спрашивается?

Катя неохотно лезла за пазуху, вынимала пачку в носовом платке и отдавала Сливе. Тот пересчитывал, бормоча, слюнявя палец, ошибаясь, вновь принимаясь отсчитывать. Катя смотрела на его манипуляции с тихим презрением. Сама-то она деньги считала молниеносно – проводила большим пальцем по ребру собранной пачки и точно называла – сколько в ней купюр.

Слива отсчитывал Катину долю, – сотни полторы-две, это зависело от заработанного, – потом откладывал себе и Пинцу. Остальное отвозили Семипалому. Прямо в часовую мастерскую на углу Карла Маркса.

...Однажды зимним, необычайно прозрачным воздушным днем, после особо удачного дела, сидя в машине рядом с осточертевшим ей Сливой, Катя вдруг поняла, что пора прикрывать благотворительную контору по поддержанию жизни в бездарных душах этих шелудивых псов. Нет, конечно, они рыщут по базарам и ищут фраера. Иногда добывают хороший товар, который можно перепродать втридорога. Ну и Слива, отличный механик, со своей, из железной требухи собранной, «эмкой», всегда на подхвате, что удобно...

Но – равная с Катей доля – им, мелким барыгам?

В том же дворе, возле низкого голубого штакетника, огораживающего укрытые на зиму, припорошенные снегом и перевязанные, как вареная колбаса – веревками, толстые виноградные лозы, Слива остановил машину и, как всегда, велел доставать деньги.

Не двигаясь, Катя со скучающим видом смотрела в окно, на крыльцо жактовского домика, каких много было в этом дворе.

На крыльце сидела большая рыжая псина и остервенело выкусывала блох у себя в паху.

– А'тистка, п'оснись! – окликнул Пинц с заднего сиденья.

Катя нахмурилась и сказала Сливе:

– Крути к Семипалому.

Слива изумленно воззрился на нее:

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/ru/dina-rubina/na-solnechnoy-storone-ulicy-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)